



Лауреат
международной премии
Lo Stellato
за лучший рассказ года,
шорт-лист премии
«БОЛЬШАЯ КНИГА»

АННА МАТВЕЕВА
ПОДОЖДИ,
Я УМРУ – И ПРИДУ

АННА МАТВЕЕВА

Подожди, я умру – и приду

Рассказы

Москва. АСТ

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
М33

Художник *Ирина Сальникова*

Фото автора на переплете – Дмитрий Скутин

Матвеева, Анна Александровна

М33 Подожди, я умру – и приду : рассказы / Анна Матвеева. – Москва : АСТ, 2013. – 316, [4] с.

ISBN 978-5-17-080117-6

Герои историй Анны Матвеевой настойчиво ищут свое время и место. Влюбленная в одиннадцатиклассника учительница грезит Англией. Мальчик надеется, что родители снова будут вместе, а к нему, вместо выдуманного озера на сцене, вернется настоящее, и с ним – прежняя жизнь. Незаметно повзрослевшая девочка жалеет о неслучившемся прошлом, старая дева все еще ждет свое невозможное будущее. Жена неудачливого писателя обманывается мечтами о литературном Парнасе, а тот видит себя молодым, среди старых друзей. «Ведь нет страшнее, чем узнать свое место и время». Не менее страшно – знать, и не уметь его найти.

Сборник вошел в шорт-лист премии «БОЛЬШАЯ КНИГА».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Подписано в печать 31.05.13. Формат 84х108/32.
Усл. печ. л. 16,8. Доп. тираж 2 000 экз. Заказ №4138

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

ISBN 978-5-17-080117-6

© Матвеева А.А.
© ООО «Издательство Астрель»

*Светлой памяти моего отца,
профессора Александра Константиновича
Матвеева*

На озере

Мама сказала, что мне понравится, а я сначала подумал, что это будет опять то же самое озеро, на которое мы ездили вместе с папой, летом. Но потом я подумал, что папы здесь нет и к тому озеру ехать очень далеко – опять надо будет лететь в самолете. В самолете мне понравилось, только уши болели, когда он взлетал, и мама ругалась, когда я случайно мешал дядьке в соседнем кресле. А летом мы ехали к озеру на папиной машине, и мама молчала всю дорогу, и на озере тоже не разговаривала. Ей не понравились комары и то, что я случайно провалился под воду и папа меня доставал, я весь был потом мокрый, и папа разводил костер, чтобы меня высушить. Маме костер понравился, она всё время сидела около него и вздыхала, а папа говорил, что, наверное, ездить на озеро еще слишком рано, лето получилось холодное.

...Здесь, в Петербурге, мама всегда надевает юбки и бусы и становится почти такая же красивая, как Ольга Витальевна, наш классный руководитель. Ольга Витальевна сказала, что мама зря ре-

шила перевести меня в другую школу посреди первого класса, но мама сказала, что уж как-нибудь сама разберется, без Ольги Витальевны, и что я проведу зимние каникулы в Петербурге, привыкну там ко всему и адаптируюсь. Папа сказал, что адаптироваться – это почувствовать себя в своей тарелке. Мама сказала, что папа всегда всё слишком сложно объясняет и что ребенку трудно понять, что такое «в своей тарелке». Но я знаю: «в своей тарелке» – это фразеологический оборот, нам объясняла Ольга Витальевна. У нас в школе была очень сложная программа, а в Петербурге, говорят, еще сложнее. Но Ольга Витальевна сказала, что я справлюсь и что я должен быть сильным.

Озеро, на которое мы едем в Петербурге, находится в театре – мама говорит, что в этот театр обычно пускают одних только иностранцев, потому что это бывший царский театр, маленький, и много народу туда не влезает. Билеты ей принесли на новой работе, из-за которой мама решила переехать в Петербург.

Пока мы здесь не устроились, живем в маленькой чужой квартире, где пахнет чужими вещами и кошкой, и ездим в ужасно глубоком метро – даже не видно дна. Ольга Витальевна говорила, что это самое глубокое метро в мире. В метро я смотрю, как моя рука догоняет мамину на поручне, хотя я рукой совсем почти не двигаю.

На Дворцовой площади мама заставила меня вставать сначала на фоне колонны, потом на фоне арки, а потом – на фоне зеленого дворца. В этом дворце музей, а раньше здесь жил царь с дочками и сыном. Ленин – которому в нашем городе стоит памятник на площади с елкой – устроил в Петербурге революцию, царя с дочками и сыном увезли к нам на Урал, застрелили, а потом сожгли. Папа возил меня на Ганину Яму, где сжигали царя, – я думал, это просто большая яма, а на самом деле там много маленьких деревянных церквей с такими же зелеными, как этот дворец, крышами. Внутри темно, печка и бородатые старики запрещают бегать и громко спрашивать у папы, можно ли поставить свечку, а потом задуть. Яму почти не видно, вокруг нее деревянные мостики и большой крест в честь царя. Я не могу сложить в голове того царя, из дворца, с этим – с Ганиной Ямы, мне всё время кажется, что это были совсем разные люди.

Про революцию, Ленина и царя мне рассказывал папа, и теперь я не хочу слушать, как мне всё то же самое, только скучнее, рассказывает Глебсон. Он на самом деле Глеб Борисович, мамин друг, но мы в школе одного Глеба из третьего класса дразнили Глебсоном, и этого Борисовича я тоже называю Глебсоном, когда он и мама не слышат. Ольга Витальевна говорит, что это значит – говорить про себя, хотя я-то говорю не про себя, а про Глебсо-

на... Так вот, я не хочу слушать, как Глебсон рассказывает папину историю своим писклявым голосом, и не хочу смотреть, как он показывает варежкой на крейсер «Аврора», и не хочу фотографироваться, когда он достает камеру.

– Петенька, встань сюда, солнышко! – это мама.

– Петр, приготовься, снимаю, – это пищит Глебсон. У него голос как у того комментатора лыжного, над которым мы всегда смеялись с папой: голос как у комара.

Я натягиваю на лицо шапку, так что на снимке будет одежда без человека на фоне зеленого дворца. Я вообще-то не хотел переезжать в Петербург, и на это озеро с Глебсоном и мамой я тоже идти не хочу.

Глебсон обиженно цыкает, мама злится, наклоняется ко мне, я уже знаю, что она сейчас сделает – схватит мою руку и выпустит в нее ногти, как будто кошка.

У моей мамы сразу две профессии: она детский психолог и еще – сапожник без сапог. Это она сама так про себя говорит. И еще она говорит, что часто поступает со мной неправильно, не так, как советует поступать с детьми другим родителям.

Я очень люблю свою маму. Мамочка, я тебя люблю. А вот ты меня не любишь, потому что заставляешь ходить по Петербургу с Глебсоном и фотографироваться на каждом углу.

Мимо нас проехала розовая карета.

– Какой китч, Жанночка, не находишь? – радостно спрашивает Глебсон. Этот Глебсон больше похож на тетеньку, чем на мужчину, как тот комментатор-комар.

– Да, это не очень по-петербургски, – отвечает мама, волоча меня за руку мимо толстой лошади с длинной, как у Ленки Караваевой, челкой. Ленка Караваева обещала написать мне электронное письмо, но мама только собирается купить домой компьютер.

Мы свернули направо, там – то озеро, которое обещала мама. На самом деле там река Нева: лед в ней стоит маленьким дыбом; если спуститься туда, к воде, и сфотографироваться, а потом при-слать снимок папе и в школу, то никто не поверит, что я в Петербурге. Все подумают, что я в Антарктиде.

Вот бы Глебсон сфоткал меня там, у лесенок! Я бегу вниз скорее, пока они не опомнились, но Глебсон верещит:

– Ах, Жанночка, он у тебя такой... лихой! Как же с ним справиться?

Мама догоняет меня на последней ступеньке и с размаху шлепает по плечу. Не больно. Даже не обидно. Обидно, что фотографии из Антарктиды не будет.

– Мы идем в театр, Петя! В театр, понимаешь? На «Лебединое озеро». А ты, не думая о новых брюках, бежишь к воде.

– Не говоря уже о том, – добавляет Глебсон, – что это очень опасно, Петр. У нас в Санкт-Петербурге *регулярно* гибнут люди во время *лэдохода*.

Глебсон скачет рядом с мамой, у него совершенно идиотская походка, и мне не нравится, как он всё время дышит тяжело, с открытым ртом. У него какой-то вечный насморк. И волосы стоят большим дыбом.

Театр с озером совершенно не похож на театр – просто дверь во дворец, с набережной. На другом берегу, там, где крепость, – большая надпись из ледяных букв – «С Ровым годом!».

– Это они уже переставляют, под Рождество, – объясняет Глебсон, – если написать в одну строчку «с новым годом» и «с рождеством», то ты увидишь, что количество букв одинаковое.

Мой папа в таких случаях говорит: «Отлично объясняешь, брат, как раз понятно для ребенка». Но я, если честно, понимаю, что Глебсон хотел сказать, и мне даже становится его немножко жалко. Он ужасно хочет мне понравиться, но не для меня, а для мамы. Я закрываю глаза и представляю, что на месте Глебсона – папа, это с ним мы идем по заледеневшей набережной Невы, и мама улыбается ему, а не Глебсону. Точно так же здесь, в Петербурге, я ложусь спать на чужом старом диване и представляю себе, что на самом деле лежу дома, в своей кровати, и на стене – старая бабушкина икона, и часы с шишечками, и за стеной папа смотрит би-

атлон. Пока лежишь, пока темно, во всё это можно запросто поверить: ночью всё возвращается, и я – как будто! – снова дома.

Глебсон сказал, что место в этом театре надо занимать самим, как в трамвае, – потому что на билетах нет никаких мест. Мама улыбается, но я вижу, что ей это не очень нравится: она не любит бежать впереди всех или обманывать, что стояла в очереди, папа всегда сердится на нее в самолете, что она сидит до самого последнего пассажира и выходит чуть ли не вместе с пилотами. Зато папе, наверное, понравилось бы, как Глебсон бежит впереди всех и даже легонько толкает китайскую женщину в бок – и потом машет нам из гардероба, и очки у него блестят счастливыми кругляшками. Глебсон на ходу уже стащил с себя куртку и красный шарфик и теперь одной рукой пытается взять у мамы шубу. Китайская женщина смотрит на Глебсона с обидой, но он уже мчится в зал, ему надо занимать места. Озера никакого пока не видно, но я уже понял, что оно будет на сцене. Когда мы с мамой заходим в маленький круглый зал с красивым занавесом, ушастая голова Глебсона оборачивается к нам с первого ряда. Мы сидим так близко, что как будто оказываемся среди музыкантов – правда, из музыкантов пришли только две девушки с дудками и скрипач.

– Жанночка, хочешь анекдот про скрипача? – жарко шепчет Глебсон маме на ухо, перевалившись через меня. Мелкие капельки Глебсоновой слюны летят по воздуху, я уклоняюсь от них, но всё-таки прислушиваюсь – вообще-то, я очень люблю анекдоты. Я их читаю в «Ералаше», когда мама мне его покупает, а вот Ольга Витальевна говорит, что рассказывать анекдоты не всегда прилично.

Глебсон рассказывает непонятный анекдот про мышинный оркестр – что один мужик решил набрать целый оркестр мышей, и вот на всех инструментах у него играют мыши, и только на первой скрипке – еврей. Я не понимаю, что смешного, и мама тоже смеется ненастоящим смехом – когда рот улыбается, а глаза смотрят серьезно и даже обиженно. Как раз в этот момент в зал приходят музыканты и главный скрипач, которого все остальные уважительно трясут за руку. Вначале я подумал, что это дирижер – мама объясняла, что на озере будет дирижер, и, когда он обернется, надо хлопать.

Все и так хлопают – китайская женщина, которая сидит рядом с Глебсоном, даже подняла руки выше головы. Дирижер тоже поднимает руки, будто сдается своим музыкантам, и начинается музыка.

У нас в школе на уроках музыки мы проходили музыку композитора Чайковского, и Ленка Кара-

ваева по ошибке сказала, что его зовут Корней Иванович. А мне на том уроке записали в дневнике «Дерется ногами!!!», хотя мы с Пашкой не дрались, а просто замеряли, кто кого первый достанет через проход.

Музыка красивая, но идет ужасно долго, а Глебсон за моей спиной пытается ухватить маму за плечо. Мне скучно, я думал, что на озере будет интереснее. Наконец занавес открывается, но там опять нет озера, а ходят на носочках худые и длинные люди.

– Это принц Зигфрид, – шепотом пищит мне в ухо Глебсон и показывает пальцем на самого тощего из всех на сцене – он еще и в белых колготках и с нарумяненными щеками. Очень противный, а на сцене все с ним так вежливо обращаются и танцуют вокруг него, хотя видно, что этому принцу Зигфриду на них наплевать. Он так поджимает губки и высоко задирает свои ноги в колготках, что я начинаю смеяться, и мама дергает меня за руку.

– Петр, – шепчет Глебсон, – это гениальная постановка, поверь.

Молодец, брат, как раз понятно для ребенка, думаю я и заставляю себя смотреть на сцену, хотя там почти ничего не меняется – колготочник Зигфрид всё так же выделяется перед своими гостями, а потом его мама-королева дарит ему настоящий арбалет. И как вы думаете, он обрадовался этому арбалету? Он начал так скакать, так разма-

хивать руками и ногами, что чуть не вылетел, честное слово, со сцены – я даже испугался за музыкантов, ведь Зигфрид скакал прямо у них над головами. Мне понравилась из музыкантов одна девушка с дудкой (Глебсон сказал, это флейта), она когда начинала играть, всегда видно было, какая она на самом деле веселая, а когда она не играла, то тихонько разговаривала со своей соседкой, и дирижер – я видел! – строго смотрел на них, как Ольга Витальевна иногда смотрит на нас с Караваевой.

– Петр, если высидишь, – снова Глебсон в моем ухе, – я тебя с мамой поведу в ресторан на Невском – это настоящий викингский ресторан, там есть доспехи и шкуры на стенках.

Я хочу в викингский ресторан, и пытаюсь перестать вздыхать, и хлопаю вместе со всеми, пока Зигфрид подглядывает за девушками в белых юбках. Это девушки-лебеди, а у него в руках арбалет, сейчас как пальнет!..

Китайская женщина тем временем засыпает и заметно кренится во сне в сторону Глебсона. Он вздрагивает, китайская женщина просыпается, и тут занавес на секундочку закрывается. Все хлопают, Глебсон пищит: «Браво!» – и потом объясняет маме:

– Зигфрид сегодня исключительный!

Исключительный Зигфрид уже снова стоит на сцене, и, главное, там теперь озеро! Я вытягиваю шею, но не вижу ни костра, ни волн, а только му-

зыка играет так печально, что мне хочется плакать и спать сразу. Девушка из оркестра дудит в свою флейту, а балерины в белых коротких платьях танцуют перед этим дураком Зигфридом.

Папа мне объяснял, что словом «дурак» можно ругаться, а вот словом «чмо» лучше не надо. При этом сам папа всё время ругается «чмом», и я слышал однажды ночью, как они с мамой ругались, и папа крикнул: «Да этот твой, из Питера, он же полное чмо!» А мама заплакала, и тогда я тоже заплакал. Раньше, когда я плакал, мама или папа обязательно приходили ко мне в комнату, а тогда никто не пришел, и я долго боялся засыпать.

У балерин юбки как дольки ананаса из банки – только белые. Караваева мне однажды по секрету сказала, что будет балериной, а я ей тоже по секрету сказал, что буду изобретателем. Я уже много всего придумал, что надо изобрести – особенно таблетки от смерти и еще такую машинку, чтобы люди ничего не забывали. Я рассказал Ольге Витальевне про эту машинку, а она засмеялась и сказала: «Петя, вот мне бы лично хотелось другую машинку – чтобы кое-что забыть навсегда!»

Одна лебединая балерина выпорхнула из стаи и стала особенно красиво кружиться перед Зигфридом – он, кстати, всё еще был в колготках. Жуть какая. У нас, если парень приходит в школу в колготках, значит, полное чмо. Ну то есть дурак. А этот еще в белых колготках и с арбалетом не умеет обра-

щаться. Лебедия кружила, кружила перед Зигфридом, а в кустах, рядом с озером, прятался кто-то в черном: вот он мне понравился. Я люблю, когда в мультфильмах или книгах есть кто-то страшный или злой – они всегда в черном и с ними интересно. Мама водила меня и Караваеву на церковную елку, спектакль там был – скукота. Ангелы, дети, которые всё время за всех молятся, и никого страшного или злого. Караваева в тишине громко сказала: «Боже мой, да что ж они все такие добрые-то!», и мама вначале рассердилась, а потом, когда рассказывала караваевской маме об этом, она уже смеялась.

– О да, – улыбнулась караваевская мама, – без отрицательных героев нет интриги, и дети это превосходно чувствуют.

Караваевская мама не умеет говорить, как обычные люди, и Ленка ее поэтому немножко стесняется. А моя мама говорит, что караваевская мама одевается, как стриптизерша. Я не знаю, кто такая стриптизерша, но всё время замечаю, какие у караваевской мамы здоровенные лифчики. Пашка говорит, что лифчики вырастают у всех девочек, но не у всех получают такие здоровенные. Хорошо, что Ленка не слышала, как мы с Пашкой про это разговаривали.

– Кто такая стриптизерша? – спрашиваю я у мамы, потому что лебедия и Зигфрид всё никак не перестанут танцевать, а того в черном видно очень плохо, и от этого мне снова скучно.

Наверное, я спросил слишком громко, потому что девушка в оркестре (она не играла) широко улыбнулась, а мама впилась мне коготками в плечо:

– Прекрати немедленно!

Глебсон пытается мне помочь, шепчет на ухо:

– Вот тот, в черном, – злой волшебник Ротбарт. Он заколдовал Одетту, и только Зигфрид может теперь ее спасти.

Ну да, этот колготочник даже сам себя спасти не сможет!

И вот наконец закрылся занавес, у меня даже не было сил встать, но, когда Глебсон сказал, что мы пойдем в буфет, силы немножко появились. Это первый антракт на этом озере, и будет еще один.

Музыканты ушли, оставили инструменты, а девушка с флейтой помахала мне рукой.

...Называется, сходили в буфет. Там была такая очередь, что мама сразу отказалась стоять и пошла искать место, где можно покурить. Бедный Глебсон тоже хотел покурить, но кому-то надо было остаться со мной, и мы стояли в очереди. Курили все на лестнице, дым от сигарет прилетал к нам в очередь, и Глебсон его нюхал и всё время завистливо озирался.

Перед нами стояли иностранцы, это Глебсон мне сказал, что они иностранцы – я бы не понял, люди как люди. Но, когда подошла их очередь и уже вернулась мама (с мятной таблеткой во рту),

эти иностранцы начали всё путать. Очень смешно. Один называл воду «водицка», а другой говорил, что хочет «пирошки», Глебсон вздыхал, терпел, а потом как заговорит с ними по-английски – даже быстрее, чем Ольга Витальевна умеет. Иностранцы ужасно обрадовались, и Глебсон им всё-всё перевел. Я даже немного гордился им, а вот маме это не понравилось, потому что, пока Глебсон всё переводил, прозвенели все звонки, и надо было опять возвращаться на озеро. А иностранцы остались в буфете есть свою еду. Глебсон всё время на них оборачивался и улыбался – как сказала бы Ольга Витальевна, «любезно». И китайская женщина тоже осталась в буфете.

– Нельзя заходить в зал, когда звучит музыка, это неуважение к музыкантам, – сказала мама.

Когда мы зашли в зал, уже все музыканты сидели на местах. Начался второй акт. Мне хотелось спать, кока-колы, домой в мой город и чтобы мама не сердилась. Мне не очень нравилось это озеро.

Колготочник Зигфрид вышел на сцену с глупым видом и опять начал ужасно высоко задира́ть ноги. Если честно, ноги у него действительно задирались высоко – прямо как в цирке. И он был очень похож на робота, только на дурацкого. Глебсон после этих скачков заорал Зигфриду «Браво!», и все в зале тоже закричали «Браво!» вслед за Глебсоном, китайская женщина в это время пробиралась на свое место, согнувшись пополам. Потом

Зигфрид уселся на трон и стал рассматривать балерин с таким видом, как будто они все ужасные уродины и к нему пристают. А он помнит ту лебедию с озера, которую заколдовал волшебник Ротбарт, и никакие другие балерины ему не нравятся. А его мама, которая дала ему арбалет (кстати, где арбалет-то? Не умеет играть с нормальными вещами, вот и закинул куда-то), наоборот, заставляет его смотреть на этих балерин.

– Ему надо жениться, – это опять Глебсон, с пояснениями, но смотрит при этом на мою маму, как сказала бы Ольга Витальевна, загадочно. Китайская женщина снова спит, опустила голову и делает вид, что слушает музыку.

И тут наконец на сцене появляется опять тот волшебник в черном – Ротбарт. И с ним девушка Одиллия (спасибо, Глебсон). Колготочник тут же оживает, начинает кружить вокруг Одиллии (она тоже вся в черных одеждах, как волшебница) и тоже очень высоко прыгает, задирает ноги. Балет, в общем. Жаль, что Ленки Караваевой здесь нет, ей бы понравилось это озеро, наверное. И Ольге Витальевне – тоже. Она мне сказала на прощанье: Петербург – это город большой культуры. И еще это – город Петра, а значит, Петенька, это немного и твой город.

Я смотрю, как скачут по сцене колготочник с черной балериной, и вспоминаю своего папу – на озере.

Мой папа очень сильный и очень добрый. Мама всегда раньше говорила – запомни, Петенька, твой отец невероятно добрый человек. Потом она стала говорить немножко по-другому – «твой отец слишком добрый человек, с ним трудно жить». Не понимаю. Добрый – это же хорошо. Всегда все хотят добрую маму, доброго папу, добрую учительницу.

А у мамы это слово – «добрый» – получилось какое-то обидное.

Папа любит лес, природу, рыбалку и охоту. Он не любит магазины, театры, гостей – всё, что любит мама. И поэтому им вместе трудно. Бабушка Вера (папина мама) мне сказала, что мама совсем другой, чем папа, человек, а бабушка Таня (мамина мама) сказала, что папа никогда не думает про маму, а всегда хочет убежать в свой лес и палить там по глухарям.

Но ведь в лесу правда хорошо. Мне нравится. Мне нравится наш лес, Урал – и наши невысокие горы, и озеро. Папа очень ловко умеет разводить костер, и еще он срезал мне удочку и научил ловить рыбу. Первую рыбку я поймал почти сразу, как закинул удочку, но мне стало ее жаль, и поэтому папа ее отпустил обратно, в озеро.

Я смотрю на тонкий, ужасно тонкий нос Глебсона и думаю, что он (Глебсон, а не его нос), скорее всего, не умеет разводить костер и ловить рыбу – с ним на озере было бы нечего делать. На этом озе-

ре, в театре, он как дома, зато папу я здесь представить не могу: наш папа не любит балет. Я очень устал обо всём этом думать. Одиллия с Ротбартом обманули колготочника, и он начал вытанцовывать с ней вместо своей лебедины. Обманутая лебединя тоже выпорхнула на сцену, колготочник понял, что ошибся, но было уже поздно. Занавес закрылся, и они все начали выходить и кланяться – особенно долго кланялась Одиллия, как будто бы не знала, что это нескромно – так хвастаться собой. Ольга Витальевна всегда говорит: «Первый “а”, не хвастайтесь и не перебивайте друг друга, это некультурно». Но Одиллия всё улыбалась и кланялась, приседала, под мышками у нее было черно от пота.

Вот сейчас мама снова умчится курить. Еще из-за этого они с папой постоянно ссорились. Папа никогда не курил и всегда говорил маме: «Разве я думал, что у меня будет курящая жена?» А мама ему отвечала странно: «Любишь меня – люби мой зонтик!»

Еще папа не любил мамину подругу Наташу. Она не разрешала себя называть «тетя Наташа», а только – Наташа, как будто девочка. Я ее, наоборот, всегда очень любил, она красивая и хорошо пахнет, и мне в ней не нравилось только то, что она всегда просила показать ей мой дневник. А потом листала его и смеялась, хотя там вообще-то нет ничего смешного.

Глебсон вот тоже – курит. Они с мамой вечерами подолгу курят на кухне, а меня заставляют пораньше ложиться спать.

В антракте китайская женщина исчезла – Глебсон снова перегнулся через меня и шепнул маме: «Отряд не заметил потери бойца». Начинался последний, третий акт.

Я смотрю на озеро, на то озеро, что на сцене, смотрю, как лебедия и колготочник танцуют друг с другом, и вспоминаю другое озеро – наше с папой. И тут я засыпаю и вижу страшный сон под музыку – будто бы Глебсон живет теперь в нашем доме и он стал моим папой. Кажется, я кричу во сне, потому что мама вдруг берет меня на руки и начинает плакать, и все вокруг в театре, наверное, думают, что она плачет от музыки и оттого, что колготочник так высоко задирает ноги и красиво прыгает. Глебсон тоже чуть не плачет, но тут наконец балет заканчивается, и снова все выходят кланяться, даже черная Одиллия, которой вообще-то в этом акте не было.

Я очень сильно хлопаю – от радости, что всё это закончилось, и оттого, что сейчас можно будет пойти домой. Мы снова пройдем пешком через Дворцовую, потом чуть-чуть по Невскому и спустимся в метро – самое глубокое в мире. Никакого ресторана викингов со шкурами, конечно, уже не будет – слишком поздно, мне завтра в школу. На

На озере

эскалаторе Глебсон будет заглядывать маме в глаза и поправлять свой шарфик, вытягивая шею, как голубь. Мама будет молчать и улыбаться одними губами. А я – вспоминать про Ольгу Витальевну и Ленку Караваеву и думать о том, что зима скоро закончится и что летом мы с папой и мамой, как в прошлом году, обязательно поедem на озеро.

Под факелом

Платоныч сидел на причале, смотрел на мужика с удавом и мужика с саксофоном.

До катера оставался целый час: большой круглый циферблат висел на цепи, как медальон, и стрелки было видно издалека. Мужик с удавом и мужик с саксофоном знали, что времени навалом. Отдыхали. Удавщик дремал, поглядывая, впрочем, на сумку с кормильцем привычно встревоженным взглядом – как мать на младенца. Саксофонист, казалось, и вовсе крепко спал, во сне подергивая губами. Платоныч вспомнил Ленку Снегиреву из консерватории – она говорила, что с духовыми противно целоваться. Это сохранилось в памяти, и красный свитер с черными точками сохранился, а сама Ленка – нет. Так что слово «вспомнил» здесь не очень подходит, Руфь его, наверное, вычеркнула бы. Платоныч вспомнил (вот тут это слово подходит без всяких оговорок) жену, увидел ее будто наяву – пижама в серую клеточку, тонкий, словно из-под бельевого прищепки, нос. Даже не нос – изящный намек на него. Поллитровая чашка

кофе, очки на цепочках, стопа бумаги справа, стопа – слева. Как хорошо, что ее здесь нет!

Май в Бэттери-парке, два самых любимых цвета Платоныча – ивово-зеленой листвы и свежего неба. Даже эти, которые скребут по небу, не портят вид. Смотри да радуйся! Дожил, добрался, доехал.

Мужик с удавом зевнул широко, как лев, кляцнул зубами и устало потер рукой глаза. Тоже, наверное, считает, что слишком много работает. И что жизнь его обманула. Поманила, а потом выставила прочь.

На скамейку Платоныча прыгнула черная белочка – если выразаться корректно, «цветная». Руфь большая специалистка по части политкорректности. С гастарбайтерами раскланивается, как с профессурой, и читает нотации соседским детям:

– Нельзя называть человека чуркой! Это неуважение!

Соседская мама (по профессии – флорист) однажды швырнула ей в спину, как комок грязи:

– Своих рожала бы да воспитывала.

Руфь на мгновение вспыхнула, и Платонычу стало ее жалко. Тоже на мгновение. Здесь виной не меряются, конечно, но не в нем было дело. Хотя, если честно, никогда они не переживали свою бездетность так, как это делали за них окружающие. Старухи шептались, молодые мамки прятали от Руфи детские личики («бездетная – глазли-

вая»), мужики сочувственно трепали Платоныча по плечу, из жалости звали «как-нибудь на рыбалку».

Как хорошо, что удавчик и саксофонист не зовут его на рыбалку! Что им дела нет до соседа по скамейке, как и до неполиткорректной белочки с мелко трясущимся хвостом. Благословен будь в своем равнодушии, Новый Йорк!

Платоныч встал, закрыл глаза и вытянул руки вперед, будто принял по строгому врачебному приказу позу Ромберга. «Явственное покачивание в позе Ромберга», – вдруг вспомнилось ему. Эти слова произносил кто-то из прошлого, из давней студенческой компании. Медики развлекали музыкантов историями про ночные вызовы, журналисты запоминали детали и термины.

– А вот я бы хотела попасть на вскрытие! – дерзко сказала девушка в клетчатой юбке. Юбка была из набора скромницы, как и длинная коса и скрипка в футляре, которую девушка таскала за собой повсюду в надежде – вдруг попросят сыграть? И тогда можно будет показать всё сразу: и быстрые пальчики, и покорную шею, и глаза, полузакрытые в экстазе.

– На стол или посмотреть? – отозвался будущий врач Иван Орлов, которого в компании звали Орел Иванов.

– Как смешно! – обиделась музыкантша. – Мне хочется увидеть эти мертвые тела.

«Идиотка», – решил Платоныч. Он тогда был, кстати, еще не Платоныч, а студент второго курса журфака Алексей Платонов. И рядом с ним сидели две одноклассницы, Оля-как-ее-там и безымянная брюнетка, такая красивая, что было стыдно думать о ней, не то что смотреть на нее.

– Ну, если хочется, значит, пойдём! – развел руками Орел Иванов, и Алексей подумал, что они правда похожи на орлиные крылья. Голова у Орла была бритой, с вмятинами, как на переспевшем персике, на шее висела золотая цепь с медальоном – вот как эти часы на причале, а глаза – голубые, с красными прожилками. Будущий педиатр.

– Пойдем, пойдём! – запрыгала девчушка со скрипкой.

Грудь ее не соответствовала общему замыслу, выбивалась из него в прямом и переносном смысле – и тоже прыгала вверх-вниз. Орел зачарованно следил за процессом, брюнетка возмущенно отвернулась.

– Ирина, ты с нами? – Скрипачка схватила брюнетку за руку, и та кивнула, без всякой, впрочем, охоты. Оля-как-ее-там к тому времени испарилась, зато пришла Ленка безликая Снегирева в красном свитере и с Тромбоном. Совсем недавно у нее был Гобой Сережа, потом его сменил Тромбон, тоже Сережа, которого медики быстро переименовали в Тромба.

Странно всё вспоминается – частями, заплатами.

Руфь в последние годы увлеклась аппликациями – клеила их из всего, что попадалось под руку, – тоже какие-то заплатки, частички подобранной жизни, своей и чужой. Платоныч однажды увидел в альбоме осенние листья и бумажные клочки с подплывшими фиолетовыми буквами, бессмысленными закорючками, а ниже – окончательная мерзость, чьи-то локоны, тоже включенные в композицию.

Когда жена собирала пазлы, это было еще куда ни шло – сидела сгорбившись за большим столом и просеивала неровные фрагменты.

– Труднее всего с небесами, – вздыхала.

Платоныч от жалости к ней, от брезгливости, замолкал, уходил из дому, а вернувшись, видел всё ту же круглую спину, одно плечо выше другого. Телевизор бубнит что-то тихое, сам для себя, на столике кусочек неба. Размером с овчинку.

Алексей Платонов не хотел идти в морг – но на него смотрели все девушки, и то ли ради Ирины, то ли ради грудастой скрипачки Аси согласился. Гадкая затея, но каждый был молод и смерти ни в каком виде не боялся. Она могла иметь отношение к кому угодно, только не к ним. Ася отдала Платонову футляр с инструментом, он не знал, как это расценивать – шанс? Или записали в друзья-носильщики? Ася подпрыгивала на ходу, как маленькая девочка, Орел шагал налегке, заинтересованно хмурясь, слушал болтовню Снегиревой, а Тромб

донимал разговором Ирину. Лучше бы сыграл тревожную музыку. Еще были какие-то люди: медики, музыканты, журналисты – вполне внушительная толпа. Сойдет за группу практикантов.

Руфь сделала бы здесь аппликацию: осеннее небо (бумага, вымоченная в луже), скелетики из детской настольной игры, пририсованные слезы. Может быть, нотный стан с пирамидками аккордов.

Орел наташил откуда-то белых халатов, все смеялись, девчонки недовольно разглядывали себя в зеркале: слишком широкая одежда, фигуру не видно! И пуговицы разные, будто вставные глаза у старых плюшевых игрушек.

У входа в анатомичку вергилий Иванов пошептался с какой-то женщиной тридцати преклонных лет, тарасившей глаза на пришельцев. Скрипачка Ася еле сдерживала, давила смех, как простуженный зритель кашель в партере. Потом дверь открылась, ударил в нос едкий запах, и Орел стащил простыню с мертвого тела.

Алексей ничего не успел увидеть, кроме того, как соскользнула вниз – словно у спящего – неживая рука. Ему хватило.

Прятели столпились у стола, девчонки громко ахали, Тромб неловко повернулся и задел разложенные инструменты. Что-то упало, зазвенело, покатилося, лязгнуло. «Нож упал – мужик придет», – вспомнилась старая присказка. Платонов аккуратно прислонил черный футляр к стене и по-

шел прочь. Нож упал – мужик уйдет. Этажи, лестницы, потолки, лепнина.

– Вы домой в халате собрались? – насмешливый голос.

Медичка. Губки, зубки, ножки, сережки.

Платонов выпростался из халата, бросил его на скамейку. Девушка подняла белое одеяние, аккуратно сложила – как продавщица в магазине складывает рубашку, которая «не подошла».

Так они познакомились – Алексей Платонов и Руфина.

– А.Платонов? – усмехнулась. – Ну, знаешь, с таким именем в писатели не ходят. Уже занято!

Руфь сразу же решила, что Платоныч станет писателем. Именно она придумала ему псевдоним «Марк Платонов», а себя велела звать Руфью.

– Гой ты Руфь моя родная, – пропел Орел, когда Платонов спустя несколько недель привел подругу в компанию. Руфь ответила будущему педиатру долгим, как финальная нота в арии, взглядом, в котором, кроме ненависти, было что-то еще.

Она училась на стоматолога, но в начале второго курса поняла, что медицину придумали не для нее.

– Буду исследовать не зубы, а души, – что-то такое сказала Руфь, прежде чем унести документы в деканат философского, где давно привыкли к беглым медикам.

Она быстро подружилась с Ириной, Олей-как-ее-там, Снегиревой, терпела даже маленькую

скрипачку, которая на втором курсе перестала таскать всюду свою скрипку – и теперь носила с собой книжки Гачева.

Платонов к тому времени стал для всех Платонычем – полуотчество, недофамилия. Переводится как «верный друг, которым легко и удобно помыкать, приятен, никогда не обижается».

– Они не ценят, не понимают, не отражают твой талант! – сердилась Руфь. – Я, конечно, люблю и Орла, и девчонок, и даже Тромба, но разве можно их сравнивать с тобой?

Сережа-тромбон к тому времени приобрел винно-красный цвет лица – не хотелось выяснять, отчего, освоил гобой д'амур и укрепился в компании в отличие от рано упорхнувшей Снегиревой. Ленка вышла замуж на третьем курсе – за технаря, чужака, и как будто вышагнула со сцены. Платоныч запомнил, что молодые венчались, первыми в его жизни. Зрелище показалось ему нелепым, но дивным. Золотой венец над головой и белое, взбитое платье Ленки он видел перед собой и сейчас, а лицо ее – нет. На месте жениха и вовсе расплывалась нечеткая клякса с бородой, в потешном, из нашего времени гляючи, двубортном костюме. Еще одна деталь уцелела – усы у жениха были тонкие, вытекали из носа, словно две узкие блестящие реки.

Тромб также присутствовал на таинстве, он легко пережил разлуку с Ленкой. Улыбался во весь

кариес и напористо ухаживал за самыми юными девушками.

– Двадцать два – мой потолок, – заявил он однажды Орлу, и тот не нашел что ответить.

С Гудзона прилетел далекий гудок – словно робкий голос гобоя. Удавщик и саксофонист встрепетнулись, но тут же снова задремали. Время текло здесь так медленно, как нигде в Нью-Йорке. Во всех других районах города время торопили, рассчитывали, подгоняли и тратили – оно скапливалось, оседало в Бэттери-парке.

Саксофонист бросил черной белке кусочек хлеба – она вначале отпрыгнула от него, а потом подбежала, приняухалась и повернулась к мужикам с таким негодованием на мордочке, что они рассмеялись. Все трое, включая Платоныча. Зубы у этих работников улицы были сахарно-белыми, как у людей, которые никогда в жизни не пробовали сахара.

Кораблик должен был прийти с минуты на минуту. К причалу подтягивалась публика – туристы, группа школьников – невероятно толстых, как показалось Платонычу, под руководством миловидной учительки-мулатки, тоже, впрочем, весом килограммов в восемьдесят. Все же Платоныч на всякий случай выпрямил спину, поправил очки. Раньше Руфь всегда говорила, что ему идут очки.

– А в линзах у кого угодно будет глупый вид! – это она начала добавлять в последние годы.

Первый рассказ Марка Платонова назывался «Пелагиаль». Не какое-нибудь там «В лесу» или «На баррикадах»! Пелагиаль, глубина глубин. Язык – сочный, как его омоним на тарелке. Ружья стреляют, персонажи уверенно шагают к финалу – и не на глиняных, не на картонных ногах. Руфь сказала:

– Так хорошо, что даже страшно!

Зубки, губки, ножки, сережки. Легкий локон, прибившийся к уху, волоски, случайно скрепленные ювелирным замком. Они поженились в конце июня, затерялись среди школьных выпускников, которые буйно встречали в тот день свою взрослую жизнь.

Платоныч окончил журфак, после практики остался в городской газете, через два года Руфь стала дипломированным философом. Как все тогда, оба зачитывались Набоковым и о нем, и Руфь примеряла на себя роль Веры. Хорошая роль – богатая, неоднозначная, есть что играть. Платоныч не сразу разобрался, что и он тоже – в игре. При всей своей обчитанности он так мало видел и знал... Любое интервью становилось для него событием. А многие из тех, кого он расспрашивал, задерживались в жизни надолго.

Руфь ненавидела газету. И сами эти страницы, грязные, скучные, и то, что Платоныч был привязан к работе, что ему нравилась журналистика.

– Она отбирает у тебя силы, те, которые можно целиком отдать прозе! – возмущалась жена. – Ты можешь себе представить Владимира Владимировича, который берет интервью у заведующей детским клубом краеведов?

Платоныч вообще не мог представить себе Набокова живым человеком. Набоков – это слова, слова, слова.

«Пелагиаль» отправилась в литературный журнал в мае, еще на четвертом курсе. За окном гремели лихие девяностые, правда, никто не думал о том, что они лихие, да и о том, что «девяностые», тоже. Годы как годы. Молодость. Книги пахли вкусно, а газеты – отвратительно, высокая печать – это вам не высокая литература. Журнал мрачно молчал, неизвестно было, добрался ли рассказ Платоныча до адресата. Руфь переживала сильнее мужа, она окончательно утвердила себя на роль жены мастера. Вера Слоним с букетом желтых цветов в руках – как-то так.

А Тромб в этом мае собрался уезжать навсегда в СыШыА. Так, кривляясь, он представлял свою мечту – как любимую, но не бесспорную девушку, за которую слегка неудобно перед компанией. В СыШыА Тромба ждал туман возможностей, из них могло вырасти что-то бесценное, а могло всё начаться и окончиться туманом. Вступали духовые: шутил фагот, рыдал гобой.

Провожали друга в бывшей пельменной, а ныне пиццерии – с белыми пластиковыми стульями,

на которых темнели прожженные сигаретные раны: лихие, сказано же, девяностые! Урал, братки в багровых кашемировых доспехах, и целая страна лежит на спине, поделенная белыми пунктирными линиями, словно образцовая мертвая туша. Ленка Снегирева мяла бумажную салфеточку, пока не разорвала ее в клочки. Не хватает страстей с эмоциями, подумал тогда Платоныч, скучает с мужем. Муж в пиццерию не пришел. Зато прилетел Орел Иванов – долго пикировал, выбирал место для приземления. Все тянулись за ним, даже герой дня Тромб, который, кстати, платить сразу предложил каждому за себя – из тебя, Серега, выйдет отличный американец, буркнула Руфь. Пиццы, похожие на детские поделки из пластилина, запивали втайне пронесенной водкой и корейским соком со вкусом химического винограда. Сложно было преломить такой хлеб, но они преломили. Тромб смахивал слезы, но не забывал поглядывать на часы.

Именно тогда кто-то сказал:

– Надо сфотографироваться. На память!

И пошли, поздним вечером, почти ночью, в мастерскую к Геннадию Гримму, который был сразу и фотограф, и художник, хотя больше всего мечтал стать монахом. Но монах никак не вырисовывался – было слишком много вокруг мягкого, розового, душистого света. И вообще, честно сказать, ничего не вырисовывалось. Натурщица сидела, оку-

тавшись простыней, как баннным полотенцем, надменно смотрела на завалившуюся толпу. Плечи у нее были в родинках всех цветов и размеров.

Геннадий был не рад, но принял бутылку в дар, шепнул что-то натурщице, и она ушла прочь, волоча по полу простыню. Победа, покидающая баррикады. Руфь уже кричала:

– Платоныч, иди ко мне! Фото для истории! Юность поэта – проводы друга!

Ленка Снегирева ухитрилась в последний момент отвернуться, так что для истории запечатлелись только темные кудряшки. Незапоминаемое лицо! А все остальные узнаваемы. Руфь со своим тонким носиком, хохочет. Надменный Орел в турецком свитере. Бородатый Тромб. Ирина с полусловом у губ – легкий дымок несказанного. Генка Гримм, отскочивший от аппарата за секунду до кадра. Скрипачка Ася без скрипки. И сам Платоныч, с мерзкими усиками. Ирина звала их «усы комбайнера», а Руфи тогда всё в нем нравилось.

Гримм быстро опьянел, начал доставать свои работы – Платоныч, хоть и тоже был нетрезв, удивился тому, как изменилось лицо художника. Только что был частью компании – и вот уже нет этой части. Мастер скорбно несет на Голгофу свои картины, одну за одной. Смотреть их было интересно только Ирине и Орлу, Платоныч не понимал, чем они хороши, Руфь и остальные откровенно томились.

И опять не вспомнить, кто первым сказал эти слова:

– А давайте встретимся ровно через двадцать лет! Под факелом статуи Свободы!

– Я, например, не собираюсь в Америку, – вот это точно был Гримм. – Чего я там забыл?

– Ну, это ты сейчас так говоришь, – возразила Ирина. – А давайте правда встретимся? Все там будем!

Протянули друг другу руки, Гримм записал дату в блокноте. Он, кстати, и напомнил Платонычу про эту встречу – за два месяца до назначенного дня прислал через фейсбук отсканированный листочек. Желтый, как для музея. «22 мая 2011 года, 14:00. Под факелом».

«Лично я никуда не поеду, старичок, – писал художник в личном сообщении, – хотя это было бы забавно. Но я по уши в работе. Делаю сразу две квартиры».

Геннадий Гримм был теперь художником по интерьерам. Жаловался, что все подряд требуют минимализм и белый цвет.

– Да у него просто денег нет на СыШыА, – рубанула Руфь, когда Платоныч рассказал ей о письме. – И у тебя, кстати, тоже.

Деньги были – Платоныч плохо учился у жизни, но кое-что всё же вызубрил. Работаем для денег, потом тратим деньги, чтобы снова работать. Он не Руфь, чтобы клеить дурацкие дневники

с чужими волосами и пробиваться фрилансом. Он вообще не Руфь!

Мужик с удавом и мужик с саксофоном спрыгнули со скамьи за секунду до того, как на воде появился прогулочный катер. Саксофон выдал взвинченную, вихрастую мелодию, удав проснулся и закачался в трансе: всё было готово для встречи прибывших гостей, у которых, знамо дело, полны карманы лишних даймов. Вот Платоныч, например, всегда подает уличным музыкантам, даже если играют они безобразно. И сейчас тоже бросил в черную мятую шляпу несколько монет. Сроднился с парнями. Удавщик с достоинством поклонился. Саксофонист был весь в музыке, не здесь.

– ...Никто не придет, – каркала Руфь, пока муж ее встряхивал набитый рюкзак, примеряясь набить его еще чем-нибудь крайне необходимым. – Никто и не вспомнит, будешь там стоять, как дурак. Человек с факелом и флейтой...

Звякнула цепочками, брякнула очками и ушла в комнату к своим картинкам и картонкам.

«Пелагиаль» не опубликовали – Руфь звонила в редакцию, пыталась говорить взрослым голосом, но слушала ответ с девчоночьим обиженным лицом.

– Сказали – не возьмут. Им такое не надо.

И тут же передразнила:

– Какое-такое! Сами не понимают, что им надо. Печатают всякую дрянь.

Платоныч промолчал, на душе саднило – но было и облегчение. Теперь можно не маяться будто бы призванием, а спокойно работать в газете. Или на радио податься. Музыкальное.

– Радио? – выпучила глаза Руфь. Не Вера, а Надежда. Константиновна Крупская. – Ты издеваешься?

Она еще раз перепечатала рассказ, и конверт полетел в другую редакцию.

Так реагировала Руфь.

Платоныч с утра до вечера брал интервью у известных спортсменов, выдающихся музыкантов и ветеранов Великой Отечественной войны. Снашивал пару ботинок в сезон – ноги кормили, но обувь просила каши.

– Глаза боятся, а ноги бегают, – шутил Орел, уже не вспомнить, по какому поводу. Он работал в детском ожоговом центре, родители маленьких пациентов его боялись, зато малыши, те, кто мог, ходили за ним по пятам. «Появился детский врач – Глеб Сергеевич Пугач».

А Платонычу нравилась редакционная жизнь, нравилось, что всё здесь требовалось делать быстро, что газета выходила почти каждый день и он был нужен в редакции каждому. Он завел сберкнижку, парочку псевдонимов (Марка берегли для литературы) и дружбу с выпускающим редакто-

ром. Однажды редактор пригласил Платоныча к себе домой, где устроил жестокую сцену жене, подавшей к столу жесткие отбивные. Швырял тарелки, будто бы в бессилии закатывал глаза. Милая робкая женщина улыбалась виновато и жалко, за стеной плакал ребенок, к которому никто не подходил. Хозяйку реабилитировал пирог с яблоками (Платоныч нащупал языком ореховую скорлупку в начинке, но тут же спрятал ее за щекой), и вспыльчивый редактор успокоился, вытащил из стола растрепанную пачку бумажных листов. Какое-то время подравнивал ее, испытующе взглядывая на гостя.

– Мои стихи, – сообщил наконец. – Вот, например... «Сонет любимой». Не возражаешь?

Пачка была толстая, сидели долго. Редактор покраснелся, встал, ходил по комнате с листами. У Платоныча затекла спина, ему очень хотелось курить, но он вежливо слушал. Когда стихи иссякли, вновь прилетел испытующий взгляд.

– Ну, Алексей, чего скажешь?

Хозяин запыхался, разволновался от чтения.

Врать Платоныч тогда еще не научился.

– Вот то, последнее, про зябкую веточку, – кажется, было неплохо, – промямлил он.

– Неплохо? – взревел редактор, и Платоныч с ужасом оглянулся в поисках хозяйки, но женщина благоразумно укрылась в дальних комнатах. Ребенок тоже молчал. Возможно, они обнялись

и закрыли друг другу рты ладонями. Придется расплачиваться самому. – Да меня такие люди хвалили, каких ты только по телику видел! У меня целый сборник уже... готов к печати! Вот, смотри!

Дернул ящик стола, тот заело, и хозяину пришлось раздраженно высвобождать какую-то клеенчатую папку, откуда выпали переплетенная в обойную бумагу книжечка и пухлый конверт с визитными карточками.

Позабыв о книжечке, редактор принялся любовно выкладывать карточки на столе, одну за другой, словно пасьянс.

– Видишь, какие имена? Ты читай, не стесняйся.

Платоныч покорно вглядывался в золоченые буквы, свитые в имена и фамилии выдающихся людей, но благоговение всё никак не подступало. Жалости зато было – хоть излишки продавай. И еще – тошнота. И желание уйти отсюда как можно скорее. Редактор вглядывался в лицо гостя, как будто на нем вот-вот проступят какие-то важные письма, а потом махнул рукой, и они пошли на балкон курить.

Наутро в редакции редактор хмуро взглянул на Платоныча и отвел глаза. А уже через день опять весело болтал с ним в курилке.

– Не дай бог такой судьбы, – сказал Платоныч Руфи, но она отмахнулась: успокойся, Марк Платонов, твой рассказ будет опубликован в районной

газете. Я договорилась. Не ах, конечно, но с чего-то же надо начинать? Правда, я прелесть?

«Пре-лесть», – вспомнил Платоныч. Недавно делал интервью с архипастырем.

В газете работала Оля-как-ее-там, у нее внезапно опустел редакционный портфель.

«Пелагиаль» увидела свет, и Платоныч впервые столкнулся лицом к лицу с Марком Платоновым. Это было не самое приятное знакомство. Честно говоря, читая рассказ, спущенный в подвал газетной полосы, Платоныч корежился, как от лимона. Неискреннее, претенциозное, блеклое, и ружья все заклинило, и герои были – картонки на глиняных ногах. Бумажные куклы, которых в детстве любила младшая сестра Платоныча, Анжелика.

А Руфь устроилась на работу в рекламное агентство и «создавала условия для мужа».

– Ты только пиши, умоляю! – говорила она, подражая то ли Вере, то ли Надежде. – А я нас прокормлю.

Платоныч молчал. Руфь получала чисто декоративную зарплату и так обстоятельно ненавидела свою начальницу, что не продержалась в своей должности даже года.

Однажды Платоныч заметил, что жена перестала носить сережки. Спросил почему, а в ответ прилетело змеиное шипение. В русском языке много шипящих звуков, и, умеючи, этим можно отлично пользоваться. Руфь пользовалась, а еще она те-

перь высказывала мужу многое, о чём прежде молчала. Оказывается, он некрасиво ел, шаркал ногами, не умел сочетать цвета в одежде. Носил черное с коричневым – да за такое казнить надобно! Платоныч неинтеллигентно вел себя с соседями, имел порочную привычку съесть последний кусок, отрастил второй подбородок. Каждый день добавлял к списку всё новые и новые уничижительные детали. Как она, бедная, жила с ним в одной квартире?

«Я не живу, а выживаю», – сказала бы на это Руфь.

Платоныч по-прежнему снашивал обувь днем, ночью же писал рассказы, чтобы не разочаровывать Руфь. Что-то у него начинало получаться, хотя газетой от его писаний всё равно несло за версту. Так говорил, нет, не Заратустра, а Леонид Шибко, заведующий отделом прозы в литературном журнале, куда Руфь устроилась корректором. Платоныч вымучивал тогда из себя целый роман. А Руфь и Шибко подружились – она разделяла его взгляды на человечество, откровенно презирая весь мир в целом и каждого его обитателя в отдельности.

Опасно перегнувшись через борт катера, Платоныч думал, что у жены и завпрозой вполне мог быть роман – свой, не Платонычев. Во всяком случае, Шибко как-то резко сменил вдруг презрительный тон на заинтересованно-терпеливый. И предложил «показать работу».

Роман был из жизни «газетного волка», автор в подробностях описывал редакционные будни, жизнь с молодой и строгой женой, в общем, если у Шибко еще и были какие-то лакуны в знаниях о семействе Платоновых, то роман их полностью ликвидировал.

– Мы напечатаем, – вяло пообещал Леонид.

Руфь летала и ахала, звонила в издательства и представлялась «агентом Марка Платонова». В мае роман вышел и был оскорбительно обмолчан.

– Ну хоть бы гадостей написали! – страдала Руфь.

Платоныч тем временем стал заведовать отделом культуры в газете и вступил сразу и в Союз журналистов, и в Союз писателей. Тогда же у сестры Платоныча, Анжелики, родилась дочка Анечка, а Орел Иванов стал гордым отцом мальчика Коли. А через полтора года – еще и гордым отцом мальчика Саши. Все вокруг принялись столь стремительно размножаться, словно от этого зависело что-то общественно важное, жизненно необходимое, чего Руфь, к примеру, долго не понимала.

– Мои биологические часы идут по американскому времени, – отшучивалась жена, когда подруги (они тогда еще были) пытали ее беседами о горшках и снимками младенцев.

Да, у подруг появлялись дети, тогда как Руфь могла предъявить в ответ только снимок ультра-

звуковой диагностики, где красовалось целое созвездие полипов. Старушка гинеколог пыталась наглядно объяснить пациентке, что именно с ней происходит, – держала в руке объемную модель женской жизни, водила указкой по трубам и яичникам, Руфь испуганно кивала.

Потом была унизительно неопасная, проходная операция, после которой Руфь неделю пролежала дома, пытаясь читать «Аду». Она стремительно похудела, а потом начала так же стремительно набирать вес. Утром просыпалась – думала о том, как приятно будет вонзить зубы в хлеб с маслом. Тогда же она начала прятать от Платоныча самое вкусное, купленное себе, – выстраивала баррикады из банок в холодильнике, укрывая от невнимательного мужского взгляда аппетитные пакетики с французскими сырами.

Тромб писал из Америки, что у него контракт с оркестром и роман с джазовой певицей. Недавно Платоныч видел по телику концерт этой певицы. Красиво вытянутое, подкачанное тело. Рот как у механической куклы, с челюстью, которая откидывается вниз, будто у Щелкунчика. Зубы – белый ровный забор. И пластиковый, невыразительный голос. Для джаза она была пресна, на такой воде хороший суп не сваришь. Зато красивая, мысленно похвалил Тромба Платоныч. Рядом с сокрушительно, словно выполнявшей особое задание, стареющей Руфью она бы выглядела дочерью.

Но дочери – как и сына – не было.

«И всё-таки самое главное в жизни – быть матерью», – это делилась мудростью маленькая скрипачка Ася. Платоныч читал ее дневник в Сети, время от времени. Ася фотографировала своего сына Юрашу с первых часов жизни – с бирочками на ножке и ручке – и выкладывала в блоге подробные отчеты о том, как он поел, каким стал обратный процесс и так далее. Гачев – позабыт, Юраша восходил в Асиной жизни каждый день, как солнце! А бездетный Платоныч разглядывал фотографии чужого детеныша и думал: интересно, как сейчас выглядит Асина грудь? Часто ли она прыгает с хозяйкой вместе?

Друзей Платоновы давно растеряли. Компания распалась, кто-то куда-то переехал, кто-то, возможно, умер во цвете лет. После хвастливых писем о джазовой певице замолчал и Тромб, переписка прервалась. В гости Платоновы ни к кому не ходили, и даже по работе он встречался с сокурсниками редко.

Новое тысячелетие Руфь встретила новой идеей. Они переедут в Москву, где талант Платоныча расцветет в полную силу! Понятно ведь, почему он не может сделать решительный рывок и покрыть себя неувядаемой славой (Платоныч представлял себе эту славу, будто упавшую палатку, обрушившуюся на него ночью во время дождя) – потому что в провинции нет условий.

– Тебе нужно быть в гуще событий! Надо общаться, знакомиться, стать частью системы!

Платоныч впервые взбунтовался – отказался уезжать. Тогда Руфь уехала одна, пожила в столице с полгода и вернулась – угасшая, виноватая. Жалкая. Ничего не рассказывала и только однажды соznалась:

– Я так виновата перед тобой. Наверное, ты был бы счастлив с другой женщиной.

Платоныч промолчал. Однажды, на пресс-конференции, когда он приткнул свой диктофон на стол к заезжей знаменитости, его ждали и счастье, и другая женщина. Диктофон у Платоныча был точно такой же, как у большинства журналистов, – среднего размера и качества. Знаменитость торопилась, быстро разделалась с вопросами и, оскалив зубы для прощального снимка, поцокала прочь. Пишущие люди стремительно разбирали пишущие устройства – Платоныч был уверен, что на столе остался его диктофон. А потом, когда сел расшифровывать запись, долго не мог ничего понять – пресс-конференция была на месте, но до нее, вместо нужного интервью с артистом из музыкальной комедии, шли чужие беседы, которые вела взволнованным грудным голосом смутно знакомая женщина.

Говорила она в основном о музыке. Вы знаете, спрашивала у молчаливого собеседника (на заднем плане подвизгивали скрипки), что Моцарт ненави-

дел трубу? Она была для него слишком простым, грубым инструментом. Моцарт на то и Моцарт, чтобы всё вокруг него было красиво, даже когда умираешь. Валторна – лесной рог, вальд хорн, представляете, как менялся звук на протяжении нескольких метров этой закрученной трубы? Тромбон – ну, здесь всё понятно. Тромбон – звук ужаса. Все страшные, нагнетающие ужас темы в фильмах, все эти та-да-да сыграны тромбоном. Кларнет – и это тоже *alles klar*. Клар-нет, чистый звук. Гобой – любовь. А фагот – вязанка дров. Незаменим, чтобы шутки шутить. И может изобразить любой звук. Вот хотя бы такой, как дальний гудок парохода.

И здесь смутно знакомая женщина изображала гудок. У-ух. Платоныча в жар бросило, будто кто-то сыграл ему в ухо нагнетающую ужас тему. Он раз сто перекручивал запись туда-обратно. Слушал пароход. А потом ему позвонили.

– Так и знала, что мы встретимся как-то по-дурачки, – сказала Ирина. – А я ведь тебя не узнала. Ты больше не носишь те жуткие усы?

Платоныч машинально провел пальцем под носом. Соседка по катеру, дряблая, но неистребимо эффектная блондинка с колоссальными золотыми звездами в ушах с интересом глянула на него поверх темных очков. На локте у блондинки, будто сумочка, висел крохотный старичок, смотрел слезящимися глазками на сверкающие пики Манхэт-

тена. Почему-то Платоныч решил, что блондинка забрала папу из дома для престарелых на выходной день, и вот они едут вместе в путешествие, как это было давно, когда никто еще не был ни дряхлым, ни слезящимся.

Удавщик и саксофонист превратились в черные точки на берегу, а потом исчезли вместе с берегом. Первую остановку объявили минуту назад – музей на острове Эллис.

Ирина писала для детей книжку о музыке, с дурацким, на ее взгляд, уточнением «познавательная». На интервью бегала редко, только для денег. И была такой красивой, что Платоныч едва осмелился сказать вместо «здравствуйте»:

– У-ух!

– Я тоже послушала твои записи, – не смутилась Ирина. – Ты всё такой же терпеливый и доброжелательный. Подсказываешь людям нужные слова.

– Зато ты никого не слушаешь! Человек пытается рассказать историю, а ты его перебиваешь. Не профессионально!

– А как Руфь? По-прежнему лепит из тебя Набокова? Читала я тут недавно твой рассказик. Сказать, что думаю?

– Не говори, – попросил Платоныч. – Не надо.

Руфь к тому времени, кажется, махнула на него рукой. Их по инерции еще иногда звали на какие-

то местные тусовки, пару раз приглашали в библиотеки, на встречи с читателями. На этих встречах собиралось человек пять, и все они в основном были сумасшедшие. «Какой писатель, такие и читатели», – говорила Руфь. Она к той поре говорила Платонычу всё, что хотела.

– Ну почему же, – смиловилась Ирина, – у тебя есть интересные наблюдения. Сравнения. Метафоры там всякие.

Платоныч сначала хотел надуться, а потом рассмеялся. С Ириной было легко. Так, будто они не в душном городе, где все вечно недовольны погодой, а плывут по Гудзону или Ист-Ривер.

Капитан буркнул что-то в микрофон, и народ начал спускаться по трапу к музею. Платоныч шагал вместе со всеми. Журналист внутри него (Платоныч всегда представлял его себе маленьким, визгливым, с карикатурным носом, похожим на микрофон, и – обязательно в плаще. Точнее, в жалком плащичке с многолетними крошками в карманах, из хлеба и табака) сочинял вводку (лид, как теперь говорят) к статье. «Остров Эллис не имеет даже приблизительного отношения к девочке Алисе, зато самое прямое – к Стране чудес. Здесь начиналась Америка для тысяч эмигрантов, прибывавших в Нью-Йорк в поисках лучшей доли. Первое, что они видели на своем пути, – величественное здание, похожее на вокзал в крупном европейском городе».

Руфь внутри него (а Платоныч, как любой муж – необязательно любящий, всегда носил внутри себя уменьшенную копию жены; с внутренним журналистом они периодически собачились) здесь поморщилась бы и выхватила отточенный до состояния иглы карандаш – как месяц ножик из кармана. И вычеркнула бы «величественное», и начала бы вздыхать над «поисками лучшей доли».

Жена долго искала, куда приткнуться в мире, ставшем вдруг таким скучным. Пыталась работать то с детишками в школе, то в библиотеке. То вдруг влюбилась без памяти в соседскую собаку, боксера Луизу. Носила Луизе подарки из мясного магазина, гладила страшную курносую морденцию, умиляя ее вполне вменяемую хозяйку. Подарки Луиза принимала, но любить в ответ не спешила и однажды облаяла Руфь, защищая рубежи родной квартиры, куда влюбленная неосторожно ступила с окровавленным пакетом в руках.

– Так вы заведите себе собачку, – посоветовала ей однажды Луизина хозяйка. – Она всегда любить вас будет, хоть пинай ее!

Решили взять кота.

Платоныч громко хлопнул дверью в музей. Лучше бы не вспоминать сегодня о Сёме. Несправедливо, что он прожил так мало. И умирал так тяжело.

Платоныч зажмурился, словно при виде грустных картин из жизни эмигрантов, которая подробно освещалась в музее. Служительница, дебелая негритянская женщина, сочувственно сдвинула его плечо. Но гость был далек от эмигрантов, честное слово, он шел по залам, от экспоната к экспонату, вспоминая серого кота, умного, как из сказки.

Они несколько лет общались друг с другом с помощью Сёмы – кот любил обоих и не давал им ссориться, разбегаться по углам квартиры. Мурлыкал так старательно, словно за это давали премию. Ложился на плечо Платонычу, то самое, которое стиснула черная служительница, и включал внутренний моторчик.

– Хыр-тыр, – ласково говорила Руфь. – Кто здесь мой любимый мальчик?

Сёма вздыхал от счастья и мурлыкал еще громче.

Когда он умер, был декабрь. Руфь хотела похоронить Сёму на даче у родителей. До весны мертвое длинное тельце лежало в морозильнике, завернутое в полотенце и полиэтилен.

Платоныч встал у витрины с бумагами – старинными документами нынешних американцев. Эта нация тоже складывалась будто пазл или аппликация. По листочку, по волоску, по ниточке.

С каждым годом Руфь находила всё новые объяснения тому, что Платонычу не пишется.

– Я заметила, – делилась она совсем уж несусветными открытиями, – что сейчас в моде такие слова, как «волглый» и еще «по-над». Если ты пишешь «по-над», тебя совершенно точно напечатаяют!

Платоныч к тому времени уже не воспринимал всерьез весь этот бред. Он заматерел на работе, частично облысел и научился радоваться «весне света». С Ириной у них всё было серьезно, но однажды она расплакалась и сказала, что жену он никогда не бросит, так как она «болящая». И что в этих отношениях всё слишком *вагман*. Платоныч залез в словарь музыкальных терминов, прочел про вагман, но Ирина больше не звонила. Ее книжка для детей вышла несколько лет назад, лежала в библиотеках на полке с надписью «Искусство». Платоныч, выступая перед пятью своими преданными читателями, всегда косил глазом на желтую обложку с черными нотками. Прочсть ее он так и не решился.

Он тогда делал очередное интервью с известным музыкантом К., даже не удержался – сфотографировался с ним в полуобнимку. Так близко стояли, что долетал даже запах изо рта. Известные тоже пахнут. На снимке у Платоныча жутко самодовольный вид. Будто бы он сам родил этого музыканта или привел его к успеху. Вообще, отчасти так и было. Когда К. только начинал выступать с группой, Платоныч написал про него огромную статью,

где цитировал Борхеса и предсказывал К. большую земную славу. Предсказанное сбылось даже быстрее, чем предполагал Платоныч. Он потом долго привыкал к тому, как становится легендой человек, которого ты знал живым, жующим, пахнущим. И вот он уже там, по ту сторону успеха, – и смотрит на тебя с фотографии в журнале. А тебе остается вспоминать о знакомстве и смириться с тем, что сам по себе ты никому не интересен. Еще, впрочем, можно рассказывать в компании о том, что «Костян вчера звонил», и поставить на стол совместное фото в рамке. А там недалеко уже и до пасьянса из визитных карточек.

Блондинка с отцом вышли из музея одновременно с Платонычем. Старикан цепко висел на загорелом локте.

– Теперь, Игоречек, поедем до нашей статуи, – сказала блондинка.

Русский язык со вкусом суржика. Платоныч вздрогнул, дважды обманутый. Не американка. И не дочка. Жена? Подруга? Сестра?

– Мужчина, а вы ведь русский, – блондинка погрозила ему пальцем, острым и раскрашенным хной. Не палец, боевое копьё африканского воина.

– Извините, – пожал плечами Платоныч, и старик Игоречек захохотал так громко, словно услышал невесть какой смешной анекдот.

Знакомиться не хотелось, поэтому Платоныч вежливо приотстал от дивной пары, наблюдая, как

они взбираются на палубу. Блондинка надела темные очки – позднее именно в них Платоныч впервые и увидел зеленую, денежного цвета, статую с высоко поднятым факелом. Маленькая, четко отраженная фигурка. И разноцветная толпа у поста-мента.

В начале нового века мир вокруг резко стал цветным и глянцевым, таким, что глазам больно. Платоныч неожиданно получил предложение возглавить новую газету – такая ни за что не перепачкает рук, а будет льнуть к ним, как вымытая, причесанная, но при этом бесконечно голодная кошка. Руфь сказала, пусть будет газета, ей всё равно. Она с каждым годом всё дальше уходила от него и от себя, той девочки с сережками. И он тоже, конечно, менялся. Молодой Платоныч не ожидал от Платоныча зрелого, что тот станет банальным скрягой. Да-да, все эти монетки для музыкантов ничего не значили – под ними, легкомысленно звенящими, раскрывалась адская пропасть скупердяйства. Платоныч жалел каждую потраченную копеечку, радовался, как дитя, когда удавалось сэкономить рублик. И, далее по списку, – доедал просроченные продукты, забирал из самолетов пакетики с солью и сахаром, таскал одну и ту же обувь по десять лет. Обувь теперь не снашивалась, ведь Платоныч стал кабинетным жителем, да и ботинки у него были вечные, английские. Правда, из моды вы-

шли, но ничего: еще пара лет – и войдут обратно как милые.

Руфь деградировала иначе. В один день, после той истории с полипами, стала болезненно брезглива. Принюхивалась ко всему вокруг, с утра пораньше начинала жаловаться, что в ванной невозможно пахнет гнильем и что Платоныч, интеллигент паршивый, мог бы хоть что-нибудь с этим сделать. Платоныч честно плелся в ванную, шумно нюхал воздух, но ничего не мог уловить, ничего. Звали слесаря, он тоже нюхал, замерял, ползал. Менял унитаз и трубы, но Руфь, вздрагивая от слова «трубы», всё так же страдала от запахов, а потом вычитала где-то, что это симптом рака мозга. И тогда началась эпопея с врачами – похожая на компьютерную игру, где каждый новый виток сюжета означал новые испытания. Рак не нашли, «мозг – тоже», злобно добавлял про себя Платоныч, он уже злился тогда на жену всерьез, а она, бедная, некрасивая, толстая, всё продолжала жаловаться и в конце концов патетически сказала однажды:

– Я поняла, Алексей, чем пахнет в ванной. Это гниет наш брак.

Руфь категорически отказывалась принимать пищу вне дома – даже в гостях у родственников. Неизвестно, кто облизывал эту ложку. Я уверена, что у Анжеликиной дочки лямблиоз. Она слишком много ест; если ей менять еду – она будет есть

с утра до вечера. И она часто пьет, эта Анечка, возможно, у нее диабет.

Анечку Руфь возненавидела с первой же минуты. Мощное чувство – Микеланджело в ненависти, Руфь отсекала от себя все прочие эмоции, пока не осталась одна только ненависть. Чистейшая, со слезой. Слеза была Анечкина – той хотелось нравиться всем, она искренне не понимала, за что ее так не любит странная тетя с дрожащими пальцами.

– Анжелике нельзя было рожать, – бухтела Руфь, когда они еще ходили в гости к сестре, когда Руфь еще брезгливо пробовала тамошние салаты и тортики. – Девочка еще даст ей жару, вот увидишь! Себялюбка, дурно воспитанная, с признаками вырождения, и ты заметил, что она косолапит?

Пока что страшные прогнозы не сбывались, Анечка училась в четвертом классе, играла на скрипке (где ты, Ася, где твоя грудь?). Руфь не любила, когда девочка приходила к ним в гости, но зачем-то устала ее фотографиями всю полку с набоковскими книгами. «Смотри на арлекинов!» – восклицал один корешок, потом были фото Анечки на горшке, в ванночке и в чтении стихотворения с открытым ртом. А дальше стояла «Лолита» как памятник мечтам несчастной Руфи.

Здесь могла бы быть аппликация – костер из крохотных ярких книжек, фигура женщины, сложенная из обгоревших спичек.

Простосердечная Анжелика советовала вывезти жену куда-нибудь на курорт, советовала Турцию или хотя бы горячие источники в Тюмени. Руфь даже слышать не хотела о том, чтобы спать не дома, – неизвестно, кто ночует на гостиничных простынях, а покрывала они вообще не стирают. И как она будет принимать ванну, если там до нее лежал непонятно кто? А в ресторанах едят только безумцы, которые не боятся ротавируса и яйцеглиста. Всем известно, что официантки плюют в суп клиентам, которые им не нравятся, так с чего им должна понравиться Руфь?

Платоныч не спорил с женой – не хочет выходить из дому, и не надо. Время от времени она бралась за какие-то таинственные заказы, стучала по клавиатуре, намекала на фриланс, но ни денег, ни других результатов этого фриланса Платоныч не видел. Зато альбомов – пыльных, толстых, разбухших от аппликаций – становилось всё больше и больше. Руфь резала журналы, подбирала на балконе голубиные перья, в такие минуты она забывала о брезгливости, несла добычу к столу и клеила, клеила, клеила свои жуткие картины.

Однажды она развернула очередной журнал и ахнула. Так громко, что ее услышал Платоныч – он в кухне жарил вареные пельмени. Трапеза холостяка.

– Смотри, это же Орел! – Руфь целила в портрет ножницами, на носу бутылочки с клеем по-

висла мутная капелька – как у простуженного ребенка. Лысый мужчина с широкой улыбкой, похожей на трещину, смотрел на них весело и ехидно.

«Иван Орлов, – сообщалось в журнале, – замечательный детский доктор, обожаемый малышами и их родителями, выступил с неожиданным признанием. Оказывается, этот тюменский Айболит вот уже пять лет подряд является автором популярнейших романов о судмедэксперте Иванове. Тайна псевдонима раскрыта!»

Платоныч давно упустил из виду Орла. Сейчас он смутно вспомнил, да, кто-то рассказывал ему, что педиатр переехал в Тюмень, там жили родители его жены. Но чтобы автор? Популярнейших романов?

– Является! – фыркала Руфь. – Выступил с признанием! Сам, поди, навалял эту заметку.

От негодования она порозовела, ожила. Даже глаза заблестели – Платоныч давно ее такой не видел.

– О чём он мог написать, объясни мне! Что так всех покорило? Эти его идиотские истории, про вдову, которая набивала в презерватив манную кашу? Как он лопнул внутри нее и эту тетку привезли в ожоговый центр? Или про бомжа, который требовал его лечить, потому что врачи давали «клятву Пифагора»? Да что вообще Орел понимает в литературе?

– Это не литература, – попытался утешить жену Платоныч. – Это популярнейшие романы о судмед-эксперте.

– И всё равно, – не поддавалась Руфь, – успех, слава! Признание! Фотография в журнале!

Она еще долго ворчала, роняя свои бутылочки с клеем и шелестя журнальными страницами. Утром, собираясь в редакцию, Платоныч заглянул в последний из ее альбомов – портрет Орла ровно посередине листа, вокруг приклеено множество еловых веточек, тщательно нарисованных зелеными чернилами и вырезанных по контуру. На веточках крепились тряпичные цветочки и буквы «Вечная Память».

Как Орел не умер после этого русского вуду, одному Богу известно. Платоныч позднее читал разные интервью с доктором в федеральных и местных газетах, ему приятно было видеть лицо старого приятеля. И слова его были узнаваемы в этих интервью, хотя профессионалов среди журналистов всё меньше. Умирает ремесло.

Ступая на остров Свободы, Платоныч не думал о том, кого он увидит под факелом через пятнадцать минут. Придет ли кто-нибудь на эту встречу, или же о ней все забыли. Люди, которые фотографировались и выпивали в мае 1991 года, давно перестали быть важными друг другу. Да были ли они важными? Даже когда он прочел в сетевом дневнике скрипачки Аси грустнейшую историю о похоронах ее мамы... Даже тогда он пожалел какую-

то абстрактную Асю с аватарки: мелкой фотографии, запечатлевшей красиво стриженную блондинку. А вовсе не ту, настоящую, живую девушку из прошлого – в клетчатой юбке, с вытертым скрипичным футляром.

История же и вправду была грустная – у ангелов всё никак не доходили крылья, чтобы разобратся с Асей, но, когда подвернулся случай, свели счеты, не мелочась. Мама умерла дома, легко, как всегда мечтала. Единственное, что она не успела сделать, – это посетить лечащего врача и сообщить, что она собирается умереть с пятницы на субботу в десять часов вечера. «Да-да, – писала Ася, размазывая слезы по клавиатуре, и Платоныч сжимался от жалости. Курсорная лапка гладила аватарку. – Об этом следует предупреждать. В противном случае по закону вам непременно сделают вскрытие с распилом черепной коробки. Чтобы установить причину смерти».

– Хотя бы голову мамину можно не трогать? – плакала Ася, как маленькая девочка, хватала за руку пухлую врачиху. Врачиха вырывала руку. Она падала безжизненно, как у трупа.

– Ничем не могу помочь, закон есть закон.

– Но ведь у нее сердце было больное. Почему вы не можете написать справку?

– Потому что ваша... ммм... гражданочка не была на приеме больше двух месяцев. Всего вам самого доброго!

Белая дверь хлопнула, белая врачиха пила с белой медсестрой зеленый чай, белый ангел сидел на шкафу в синих бахилах и грустно смотрел на черную от горя Асю.

«Но я не сдаюсь, – писала дальше Ася. – Я пошла к патологоанатому, в морг, где лежала мамочка. И упала ему в ноги».

Патанатом только что пообедал – вышел из машины, задумчиво выковыривая мизинцем капустку из зубов. Хороший специалист и славный человек, который искренне растерялся, увидев у своих ног маленькую зареванную женщину. Капустка плотно засела в зубах, патанатом встряхнул Асю за плечи.

– Я очень хочу вам помочь, но не могу.

– Но я же вам заплачу, – пискнула Ася. – Сколько скажете.

Патанатом покачал головой.

– Есть закон, понимаете? Единственное, что я могу вам пообещать, – мы всё сделаем очень аккуратно.

– Но хотя бы голову мамину можете не трогать?..

На похоронах, когда вокруг гроба ходили грустным гуськом мамыны подружки, Ася старалась не смотреть на подушечку в кровавых пятнах. И всё равно смотрела и шептала одно и то же, про себя и вслух: «Прости меня, мамочка, прости меня».

«И всё же, – это были слова из финала ее рассказа, непонятно с какого ляда выложенного на всеобщее обозрение, – патологоанатом был единственным во всей этой истории, кто отнесся ко мне по-человечески».

Статуя была теперь совсем близко.

– Симпатичная женщина, – одобрительно сказал кто-то вполголоса рядом с Платонычем. Русский, незнакомый, молодой. Похож на молодого Сережу Тромба.

Платоныч прислушался к себе и понял – он не хочет, чтобы рядом был Сережа. Не хочет видеть никого из прошлого, никого из настоящего. А будущего вообще нет, это все знают. Особенно американцы, нация детей, повзрослевших в один день.

Ему было хорошо на маленьком острове, рядом с зеленой женщиной в колючей короне. Статуя крепко держала и факел, и скрижаль – не вырвет ни один мошенник.

Парочка из музея поравнялась с Платонычем.

– Скажите, а на факел можно подняться? – спросил он у женщины, и та захихикала. Старикан тоже улыбнулся.

– «Факел» у них неприлично звучит, – объяснила она. – Мы в девяностых поднимались с Игоречком на корону. Помнишь, Игоречек, как здесь было здорово, пока эти суки не снесли Торговый центр?

Анна Матвеева

«Снесли» прозвучало у нее так буднично, словно это был плановый снос.

Игоречек кивал, закинув голову и восторженно любуясь статуей. Часы на бледном стариковском запястье показывали ровно два.

Платоныч вытянул шею, но перед ним под факелом толпилось слишком много народу.

Он отвернулся, будто бы разглядывая мост с гигантскими опорами, похожий на провисшую волейбольную сетку. А потом пошел к пристани, откуда через двадцать минут отплывет рейсовый катер.

Мужик с удавом и мужик с саксофоном встретят его на берегу.

Обстоятельство времени

Когда Е.С. поворачивалась спиной к классу, лицом к доске (к царевичу – передом, к лесу – задом), сразу становилось понятно, есть ли сегодня на уроке Ваня Баянов. Пока учительница писала тему размашистыми меловыми буквами на зеленой доске, класс бесновался (если был Ваня) или же сидел тихо и преданно буравил спину Е.С. взглядами (если Вани не было). Даже страшно становилось учительнице в такие дни – казалось, что сзади никого, что лес, царевны и царевичи исчезли. И что пишет она тему в пустом классе, непонятно с какой целью выводит меловые буквы – каждая размером с ее собственную ладонь.

– Всеволод Гаршин. *“Attalea Princeps”*.

Е.С. – многообещающие инициалы.

Для учительницы самый лучший вариант, конечно, Елена Сергеевна. Настольная книга драматурга и педагога, недорогая к тому же. Светло-синий чулок. Принципиально-жалостливая, любит поговорить о том, что у богатых женщин пустые глаза. И еще любит графику, особенно меццо-тин-

то. Ах, меццо-тинто! Черная манера – личная замена мужчинам, ребенку и, бог с ней, даже религии.

Екатерина Семеновна – тоже симпатично. Представляется такой приятный белокурый образ: пухленькие щечки, чулки не синие, а с кружавчиками, видными в разрезе юбки. Цок-цок, доброе утро, мальчики! Десятиклассники в глубоком поллюсионном обмороке. Начнем урок!

Евгения Самуиловна – ну, это уже классика соцреализма. Или, если хотите, легенда отечественной педагогики. Пожилая интеллигентная женщина с юмором, чуточку трясущимся подбородком и терпением такой выдержки, что даже арманьяку не снилась. Черное платье с кружевным, но не чулком, а воротником, яшмовая брошь и мягкие морщинистые ладошки. Детей всех зовет на «вы», даже если у «вас» сопливый нос и всего семь лет жизни за плечами. Младшеклассники лезут обниматься, чувствуют, зверята, это один из последних экземпляров. Почти ушедшая натура.

Еще можно представить себе, например, Евдокию Степановну. Загорелую, в морщинках, с крепкими крестьянскими ногами. Знает наизусть всего Маяковского, а любит Есенина и держит дома кошек, хотя хотела бы собаку. Детей всех зовет на «ты», и взрослых тоже. Украшает кабинеты к празднику, даже когда ее об этом не просят, и выращивает цветы на подоконниках – даже те, которые в неволе не растут.

Еще могла бы возникнуть... Евангелина Сидорова, странное создание, которое само себя боится, или вообще какая-нибудь Ева Саваофовна, но все они – не те. Наша Е.С. – из другой колоды, вообще ничего общего, кроме инициалов. И она эти инициалы любит больше полного имени, потому что полное имя учительницы – Елизавета Святославовна. Родители не удосужились взвесить его на весах живой речи, ни разу не произнесли вслух, просто маме очень уж хотелось девочку Лизаньку, а папа так желал угодить маме, что и не подумал с нею спорить. Еще когда выдавали свидетельство о рождении, в окошечке ЗАГСа вздохнули, что писать долго и сложно, но гражданам разве втолкуешь? Перед Лизанькой, к примеру, зарегистрировали и вовсе Джессику Курочкину.

В школе Елизавета Святославовна в полном объеме имени не прижилась бы – таким учительницам или приклеивают удобные клички-этикетки, или сокращают до какой-нибудь Лисс-Святны. Е.С. заранее подготовилась к любым вариантам и сама сократила себя до первых букв. Сынциировала, таким образом, свое прозвище и спокойно на него отзывалась.

А мама, да, по-прежнему звала ее Лизанькой. Е.С. худенькая, невысокая, длинные волосы в хвост и выглядит как девочка, которая немного устала. Морщинки, легкие тени под глазами, вино-

ватая улыбка. Какого цвета у нее глаза, помнил только муж, и то в юности.

– *“Attalea Princeps”* – сказка, которую вы должны были прочитать дома.

Ваня Баянов сегодня был в классе и занимался как раз тем, что Е.С. про себя называла «рвать баян». Таких, как Ваня, в прежние времена считали хулиганами, а теперь со скорбным лицом говорят: «гиперактивный ребенок с дефицитом внимания». И прописывают таблетки для усидчивости и мозговой деятельности. Ваня по кличке Баян – хорошенький пятиклассник с лицом правого ангела «Сикстинской Мадонны». Херувим-поганец. У Вани жуткий нервный почерк, как у смертельно уставшего от писанины доктора, дежурящего третью неделю подряд. У Вани белокурая мама, которая ездит в громадной машине, носит высокие сапоги и с такой тоскливой страстью смотрит на мальчиков из одиннадцатого класса, что Е.С. всякий раз хочется закрыть ей чем-нибудь лицо, чтобы никто больше этот взгляд не увидел. Наконец, у Вани есть мечта – довести каждую училку до белого каления, то есть, скорее всего, Баян не думает именно такими словами: «до белого каления», это Е.С. улучшает и редактирует Ванины душевные позывы.

В свободное от школы время, то есть ночами и в воскресенье, Е.С. редактирует статьи для глянцевого журнала, поэтому у нее сформировалась

привычка редактировать речь, а порой и мысли окружающих – она часто подсказывает нужные слова даже тем, кому это совсем не требуется.

Баян, как балерина, кружится по классу, ставит подзатыльники отличникам и показывает язык в окно. Е.С., по замыслу Вани, должна возмутиться, выгнать поганца из класса, но у нее другая тактика – игнор. Нет Вани Баянова в ее жизни, и мальчишку это страшно задевает. Когда он совсем уже переходит границы, Е.С. взрывается короткой вспышкой – как самодельная бомбочка – и говорит два слова:

– Пошел вон.

– Это недопустимо! – возмущается в учительской Елена Сергеевна, с которой полностью солидарны Евгения Самуиловна, Екатерина Семеновна, Евдокия Степановна и даже странная Евангелина Сидоровна. Евы Саваофовны сегодня нет – отпросилась в сад.

– Баянов, конечно, не сахар, но у меня вот, например, сидит и работает, – Евдокия Степановна гордится собой и смотрит на Е.С., готовая поделиться наработками и открытиями. Евдокия Степановна ведет у пятого класса информатику, в которой Е.С. не понимает ни бельмеса, а Степановна, та съела собаку-арробу еще в те времена, когда компьютеры были размером с шифоньер.

Е.С. молчит, а директор школы и единственный в ней педагог-мужчина Егор Соломонович примирительно говорит:

– Я бы рад его выгнать, голубчик вы мой, Елизавета Святославовна (запыхался, бедняга, к концу имени), но вы же знаете, его папа купил нам в школу новые компьютеры. А мама всегда помогает с призами для конкурсов.

Сегодня Баян в ударе. Удары он наносит по стенке ногами в мокасынах фирмы *Gucci* и сопровождает боевыми выкриками. Портрет Ломоносова, висящий на той же стене, мелко трясется и смотрит на учительницу с укоризной. Всё громче и громче произносит Е.С. слова о роли Гаршина в русской литературе, всё методичнее и яростнее стучит Ваня о стенку. И вдруг замолкает, и в класс нежным облаком спускается благословенная тишина. Так бывает после целого дня ремонта у соседей – когда после сверления мозгов, ударов по затылку и скрипу костей внезапно наступает восхитительная пауза, и для счастья уже не надо больше ничего – даже любви и денег.

Ваня чудом услышал вопрос о том, кто из героев сказки понравился ему больше других, на кого ему хочется быть похожим, и так резко вскинул руку вверх, что Е.С. непроизвольно пригнулась.

Дети между тем уже высказались – они все сочувствуют гордой пальме и маленькой травке, желающим сбежать из тесной оранжереи. Все, как один, маленькие занудные подхалимы.

– Баянов! – говорит Е.С., и Ваня непривычно тихим голосом признается: ему нравится толстенький кактус, не помышлявший о побеге.

– Я, – объясняет Ваня, – я бы хотел быть таким, как этот кактус. Мне бы нравилось в оранжерее. Я люблю покой. И уют.

Одноклассники осуждающе шумят, девочки смеются, Ваня краснеет и скидывает со стола учебник соседки по парте Рыбиной Риты. Звенит звонок, все несутся в столовую – святой час! Е.С. успевает поймать на ходу Баянова и попросить у него дневник. Там, среди красных строчек замечаний и фигурно вырисованных двоек, появляется первая в жизни пятерка по литературе. Или по «литре», как записано у Вани.

– Это мне? – не верит глазам мальчишка. – Спасибо!

Е.С. кивает, и Баян уносится прочь с дневником, поднятым над головой, как знамя революции. В юности Е.С. тоже хотела стать «пальмой», сломавшей крышу ненавистной оранжереи и принявшей смерть взамен тюрьмы. Сейчас, когда ей тридцать девять – а это последний вагон, – она поняла, что ей тоже нравится толстенький кактус. А также покой. И уют.

Покой, впрочем, только снится – на второй урок приходит восьмой «б», писать контрольную по обстоятельствам. Обстоятельство времени. Обстоятельство места. Обстоятельство меры, причины, условия, образа действия.

Восьмой класс – почти взрослые люди. Ключевое слово здесь «почти».

Пока ученики корпят над работами (Оля Макарова бессмысленно и беспощадно списывает у Кости Логвянко), Е.С. отвлекается от урока, думает про свои личные обстоятельства. Особенно ее занимает обстоятельство времени.

Время жизни Е.С. несется очень быстро. Как бешеный конь во сне жокея-чемпиона. Как ночь с любимым. Как любой урок – хоть русский, хоть литература! – в одиннадцатом «а», где учится Севастьян Аренгольд.

Вот тоже имечко, да? На самом деле мальчика – того же самого – могли звать Всеволодом Ёлкиным, вот и представьте себе, какие возможности открываются перед одним и тем же человеком. Ёлкиным был урожден отец Севастьяна, мечтавший, что будет у него сын Сева еще в рядах Советской Армии. Мама Севастьяна против мечты не возражала, но внесла в нее кое-какие коррективы – полное имя будет «Севастьян», и фамилию возьмем материнскую. Как любят некоторые вмешиваться в наши грезы!

Самым красивым в Севастьяне Аренгольде было его имя, хотя Е.С. искренне считала его разносторонне прекрасным юношей. В нем не было ничего приторно-молодого: телячьих глаз, пухлых губ, неуклюжей робости. Высокий, резкий, с довольно крупным, на вырост, носом, уверенно выре-

занным подбородком и совсем неожиданными в таком комплекте кудрявыми волосами, которые доставляли ему много слез в детстве. Сдержанный, холодноватый, словесно одаренный Аренгольд всегда был преданным рыцарем Е.С., и мысль о том, что всего через несколько месяцев этот удивительный мальчик исчезнет из ее жизни, мучила учительницу всё чаще. В последнее время, откровенно говоря, она не давала ей спать по ночам – Е.С. просыпалась и шла проверять тетради. Или редактировать тексты при луне.

Аренгольд, разумеется, был влюблен в Е.С., но она – бедная, бедная Лиза! – никогда не позволила бы этому искушению состояться. Хотя и надевала самые свои любимые платья в те дни, когда у одиннадцатого класса была литература.

Вот такое было у Е.С. обстоятельство времени – непреодолимая разница в возрасте между ней и Аренгольдом. Более того, никто и не пытался ее преодолевать – каждый, со своей стороны, делал вид, что ничего такого не происходит. Хотя Е.С. сбивалась и краснела, когда Севастьян проходил мимо. Или отвечал на ее вопросы. Или отстаивал вместе с ней – против всех! – несчастную букву Ё, за которую Е.С. давно уже собирала крестовый поход. Возможно, Севастьян боролся не столько за букву, сколько за родительскую фамилию Ёлкин, которая утратила бы вместе с точками над верхней перекладинкой всё свое brutальное звучание. Воз-

можно, хотя Е.С. считала иначе. Самое большее, что она себе позволяла, – это пометать о том, как они однажды встретятся, лет через пять, когда он уже будет взрослым мужчиной, а она – всё еще привлекательной женщиной.

– Милая, – окликнули бы Е.С. ровесницы из последнего вагона, – через пять лет он и смотреть на тебя не захочет!

Тут еще на третьем уроке – русского языка в пятом классе – Баян, воодушевленный пятеркой, активно участвовал в образовании однокоренных слов и написал на доске нервными буквами: «Искушение».

– Это от слова «искать», – пояснил Ваня. И улыбнулся прелестной улыбкой херувима.

Искушение, как не оно! На одной лестничной площадке с семьей Е.С. жил молоденький поп с еще более молоденькой попадшей. Оба были очень серьезные и поэтому смешные, но Е.С. не стала искать никого другого и вечером позвонила в соседскую клеенчатую дверь.

Дома поп ходил в трениках и черной футболке. Кстати, в слове «поп» нет ничего обидного.

Он так обрадовался Е.С., как будто она принесла ему благую весть.

– Проходите! Проходите! – приглашала ее девочка-попадья. Е.С. неловко села на табуретку.

– Вы хотели поговорить, – догадался хозяин, и Е.С. вдруг увидела, что он тоже – мальчик, что

он, наверное, даже не помнит, какие мультфильмы показывали в перестройку. Все вокруг Е.С. вдруг оказались моложе ее на непоправимое и непостижимое число лет, а она на глазах обростала годами, старела и выцветала вместе со своими любимыми платьями.

С чего она взяла, что ее любит Севастьян Аренгольд?

– Извините, – бормотала Е.С., прощаясь с хозяевами.

Девочка-попадья чуть не плакала от досады, так ей хотелось по-взрослому принять в гостях соседку. Священник – хотя и в слове «поп» нет ничего обидного – тихонько постучал согнутым пальцем по плечу Е.С.: как будто в калитку.

– Приходите в любое время.

И вот Е.С. сидела над тетрадками – почти все коллеги, кроме разве что Евдокии Степановны с ее информатикой и Евы Саваофовны, пристально разглядывающей в коллективном саду стволы молоденьких яблонек, делали то же самое. Обычно Е.С. проверяла тетради лихо, легко, только успевала перекладывать из одной стопки в другую – ее ждала еще и редаKTура, намного более тяжкий труд. Журналисты теперь совсем разучились писать, но остались при этом такими же ранимыми, как прежде.

– Она у нас вырезает всё самое лучшее! – возмущались «пикульки трехкопеечные», как любовно

называла журналистскую братию мама Е.С., некогда старший редактор областного радио и заслуженный деятель культуры.

Е.С. и правда резала лишнее – «это», «является» (являются, объясняла она тем, кто ее слушал, только привидения. И то не всем!), обрубала хвосты деепричастий и выпалывала любимые слова гламуристики: «изысканный, завораживающий, поражающий, изумительный, роскошный, неповторимый, уникальный». Глаголы, ну почему все нынче так не любят глаголы? Глагол может спасти даже самое неуместное и нескромное предложение.

Слава богу, в журнале признавали букву Ё, хотя бы в этом смысле Е.С. повезло.

Но до редакции сегодня было еще как до луны. Весна, за окном светло, стволы деревьев в саду видны как днем.

Е.С. сидит над тетрадками и пытается разобрать почерк Вани Баянова. Это даже не почерк – Баян ленится делать домашнюю работу и, как дошкольник, выводит в тетради каракули, изображающие буквы. Похоже на схематическое изображение травы или горных пиков. К запятым и другим знакам препинания Ваня относится точно так же, как писательница Гертруда Стайн, – делает вид, что их нет и никогда не было.

Е.С. ставит двойку и пишет: «Ваня, мне нужен перевод».

Это Ване нужен перевод в другую школу. Но тогда придется отдавать в другую школу и компьютеры из класса Евдокии Степановны. Как ни странно, Ванина тетрадь с каракулями отвлекает Е.С. от печальных мыслей, хотя в голове всё так же крепко сидит и царапается буквами длинное слово «искушение».

Е.С. не одинока, у нее есть муж, дочь и даже кошка, но все они – и сама хозяйка – живут в этом доме своей, отдельной жизнью. Хорошо, что у них целых три комнаты! Есть куда расплыться. Кошка иногда, впрочем, жалуется на такую судьбу, ходит из комнаты в комнату, муравывая и пытаясь собрать непутевую семью вместе. Не за одним столом, так хотя бы в одной комнате! Но нет. Муж Е.С. Виталий ведет нескончаемую беседу с телевизором, один-одинешенек сражается с целой гвардией улыбающихся голов.

Прибегает с работы и сразу включает телевизор, а тот и рад стараться, на каждом канале – своя голова с улыбкой.

Одна голова рассказывает о погоде, про ясные майские деньки, а Виталий ей р-раз, саркастически:

– Помню я твои майские деньки на прошлой неделе – шумел камыш, деревья гнулись!

Голова, может, и хотела бы, и нашлась бы что ответить, но Виталий уже на другом канале, уязвля-

ет другую – политически подкованную голову, с усами и в очках. Усы ядовито шевелятся, очки блестят – захватывающее зрелище! Или, как написали бы в глянцевого журнале, «уникальное и завораживающее».

Е.С. всякий раз смотрит на эту борьбу с электронными мельницами и понимает: она настолько не любит своего мужа Виталия, что ей даже жаль его становится. Ведь как бы ни любила она своего мужа, он вошел со всеми своими недостатками и телевизионными головами в состав ее жизни – а это хуже, чем состав крови, которая хлещет.

Одна приятельница Е.С. говорила после развода с мужем, который обижал ее и даже поколачивал:

– И всё равно, Лизанька, иногда мне его так не хватает!

Понятное чувство – если бы носили по домам бумажку и собирали подписи, кто такое испытывал, Е.С. обязательно оставила бы там свою учительскую закорючку: буква Е с легкомысленной челкой и косое тире.

Е.С. берет следующую тетрадь – отличницы Риты Рыбиной. Отдых глазам, на душе бальзам. Никаких искушений!

За окном тем временем наконец-то темнеет. Мимо комнаты Е.С. громко топает дочь Карина. Е.С. в юности мечтала родить именно девочку, и мечта сбылась – правда, над ней тоже поработа-

ли. Подкорректировали, причем изрядно. И вообще, дети учителей – самые заброшенные в мире дети.

Карина мила, кудрява и производит много громких звуков. Когда она пьет консервированный сок, то звук получается такой, как если в кофейном автомате варят капучино. Когда она ест, звук получается такой, будто сразу несколько изголодавшихся котов пытаются жевать жесткое мясо. Когда она просто идет мимо, звук получается такой, что Е.С. роняет тетрадку отличницы Рыбиной на пол.

– Привет, мамс! – басом говорит Карина, не глядя на мать. Ей неинтересно глядеть на мамса – чего она там не видела.

Карина старше Севастьяна Аренгольда всего на два года, но между ними – пропасть.

Такая же точно пропасть, впрочем, между Кариной и Е.С. – ни одна кошка не поможет, как ни мурявкой. И вот каждый стоит на своем краю пропасти и молча смотрит в нее, но временами здороваются с соседями по семье. Да, именно так – в своей семье все они друг другу соседи. Карина не учится, не работает, мечтает выйти замуж за сексапильного миллионера с хорошим характером и заказывает ночами супербольшие сеты роллов «Харакири для камикадзе». Роллы привозят глубокой ночью, Карина любезничает с посыльными, ее толстые ножки кокетливо приплясывают на пороге. Девочка-попадья в ужасе смотрит в дверной «глазок».

Время – тем временем! – летит, вырывает из рук Е.С. непроверенные тетради и говорит: «Пора спать!»

Обычно, прежде чем уснуть, Е.С. позволяет себе помечтать на две самые главные темы – о Севастьяне Аренгольде и войне с Англией. Но сегодня, напуганная искушением, она гонит Севастьяна прочь из мыслей и сосредоточивается на второй своей мечте.

Всю свою взрослую жизнь Е.С. преподавала русский язык и русскую литературу, но мечтала при этом об Англии. У нее была самая настоящая английская мечта, обустроенная до мельчайшей детали. Вначале Е.С. хотела просто побывать в Англии, пройтись лондонскими улицами, купить себе твидовый костюм и еще какое-нибудь роскошное излишество, прокатиться на поезде в Солсбери и Бат, а потом вернуться домой, к «Атгалии Принсепс», ученикам и соседям по семье. Затем, когда жизнь начала всё теснее и теснее обставлять Е.С. временными рамками, обязанностями и делами, мечта слегка видоизменилась – теперь Е.С. представляла себе, как она живет в Англии (Лондон, Солсбери или Бат, тут было неважно) и с утра идет с собачкой в булочную. Почему с собачкой и куда делись родная кошка, Карина и Виталий, в мечте не уточнялось, но представить себя на улице британского города с собачкой было чистое счастье! И так повелось – чем теснее подступала реаль-

ность, окружая обстоятельствами места, времени, причины и образа действия, тем более разнообразной и умиротворяющей становилась мечта. Когда было в очередной раз невыносимо думать, во что превратилась жизнь, Е.С. закрывала глаза и видела себя в другом мире, в совершенно иных обстоятельствах. И это помогало, потому что иначе решить проблемы всё равно не получилось бы – зря говорят, что из любой ситуации найдется выход. Е.С., как человек, на собственном опыте испытывавший, каково это – годами жить в наглухо запечатанной комнате без выхода, готова глухо посмеяться над этим заблуждением. Она тоже вначале считала, что всё можно изменить, и пыталась, и набилась целую голову шишек. До сих пор больно!

Конечно же, Виталий не был с самого начала так перециклен на борьбе с телеголовами. Он был вполне хороший муж, в меру заботливый, добрый, с цветами на праздники и любовью во взоре. Он работал, помогал по хозяйству, практически не выпивал, но потом у них родилась Карина, и всё, что было раньше, перестало быть важным.

Дело в том, что муж Е.С. не любил Карину и вложил в эту нелюбовь всю свою силу и страсть. Окружающие обычно не верят в то, что родители могут не любить своих детей, – но только в том случае, если речь не идет о таких родителях, как Виталий. В Карине его раздражало всё, начиная от половой принадлежности и заканчивая привыч-

кой ходить дома босиком и напевать поутру в своей комнате. Пела, кстати, чистехонько! А он злился. И девочка, когда подросла, тоже злилась. Е.С. металась между ними, металась, а потом ей стало как-то всё равно. И каждый нырнул в свою мечту – Карина грезила о миллионере, ее отец – о победе над телевизионной гидрой, а Е.С. обустроивала гнездо в далекой Англии, причем в последнее время *жила* она неподалеку от Кембриджа, где, по слухам, собирался учиться Севастьян Аренгольд. Сокращенный, надо думать, к тому времени до Сэба Арена.

Ворочаясь в постели, бедняжка Е.С. вспоминала, как она решила воплотить свою английскую мечту. Однажды, волнуясь, с красными пятнами – как от приложенных «пяточков»! – на щеках, учительница пришла на прием в британский визовый центр и, уставившись взглядом в карту королевства, похожего очертаниями на присевшую по нужде крольчиху, попросила выдать ей анкету.

В обычное время Е.С. одевалась так, как это принято у хорошеньких женщин из последнего вагона: милые платьица, узкие юбки, платочки для уставшей шеи. И непременно светлые чулки и туфельки из дорогого магазина. Но на встречу с мечтой Е.С. явилась в колючем пиджаке, издали похожем на твидовый, в строгих коричневых брюках и шляпке. Она так хотела в Англию! У нее неожиданно быстро приняли документы и велели сдать

«биометрические данные», чему она подчинилась с волнением и даже трепетом. И тут выяснилась удивительная подробность про Е.С., такая, которую сам про себя никогда не выяснишь – только при помощи британского визового центра. Оказалось, что у Е.С. практически отсутствуют отпечатки пальцев!

– Отличная новость! – засмеялся директор школы Егор Соломонович, с которым Е.С. зачем-то поделилась этим открытием. – Можно идти *на дело!*

Отпечатки сняли только с пятой попытки – сотрудница визового центра изо всех сил давила на бледные пальцы Е.С., пока не раздался нужный писк, свидетельствующий о том, что оттиск получен.

– Ты просто слишком много работаешь, – заметил Виталий, которому Е.С. тоже, потрясенная, рассказала свою историю. – Стучишь по клавише, стираешь отпечаток личности... Посиди, отдохни, посмотри телевизор!

Неизвестно, по какой причине – из-за отпечатков или из-за неубедительного комплекта документов, но в визе в королевство мечты Е.С. отказали. Сотрудница (та же самая, что давила на пальцы) распечатала конверт и громко удивилась:

– Надо же, у вас отказ!

Е.С. опять была в тот день в своей глупой шляпке и, принимая из окошечка отвергнутый паспорт,

вдруг увидела себя со стороны глазами юных студенточек, получавших визы в оксфорды и кембриджи. Она увидела, как нелепо выглядит в своем псевдотвиде и, что хуже, как не подходит ей эта английская мечта – она была ей не по размеру, не по возрасту, не ко времени.

Но Е.С. привыкла мечтать об Англии, поэтому заменила одну мечту другой – как часто делают отвергнутые женщины, она начала мечтать о войне с Англией. О том, как эту страну всем миром разлюбят, выбросят из своих снов и мечтаний буколические домики, синие озера и Шерлока Холмса, о том, как королева Елизавета будет рыдать, утирая слезы шляпкой (да-да, Лизанька, именно так!), и писать письма туристам из далекой Африки и России: «Приезжайте! Мы вас ждем!» Но даже самый нищий африканец, у которого, кроме бус и палочки в носу, нет никакого имущества, откажется посетить королевство присевшей крольчихи!

Прошло несколько месяцев, прежде чем Е.С. простила Англию. В один день множество мужчин (Егор Соломонович утром, Виталий вечером плюс неподдающееся счету число телеведущих) сообщили о том, что в выбранный для приезда Е.С. в Британию день было взорвано сразу несколько поездов лондонской подземки.

«Искушение!» – сказал бы тут, наверное, Ваня Баянов.

Ваня, меж тем, пытался закрепить успех и на всех уроках Е.С. сидел отныне, как тихий кактус в горшке – такой же дисциплинированный суккулент рос на окне Евдокии Степановны, которая во все не радовалась педагогическим успехам коллеги, а «ставила», выражаясь современным языком, на Баяна. У нее тоже была своя мечтёшка – Евдокия Степановна любила представлять себе, как ее ближнему становится плохо. Потом еще хуже, а затем и вовсе невыносимо. Если бы Евдокия знала, как тяжело живет Е.С., она была бы почти счастлива, но наша учительница не пускала коллег дальше принятой дистанции.

В дневнике Баяна было всё больше и больше пятерок по литературе и русскому. Он прилично рассказал наизусть стихотворение Фета и отрывок из «Руслана и Людмилы», сдал в срок сочинение, и однажды, после шестого урока, перед столом Е.С. появилась Ванина мама с гигантской коробкой конфет. Е.С. как глянула на эту коробку, так и поняла, что ей никогда не захочется ее открывать.

Баянова была холеной до скрипа и, хотя по возрасту должна была находиться в том же вагоне, что Е.С., неимоверными усилиями умудрялась ехать далеко впереди. Высокая тетя с белыми крашеными волосами и толстыми коленками, похожими на футбольные мячи. Когда Е.С. видела Баянову, в голове у нее само собой загоралось слово «хабалка» – неоновыми красными буквами. Что-

то было в ней такое, возрождающее память о продавщицах из огуречного отдела. Но даже если Баянова и была хабалкой, то с претензиями. Она всегда носила с собой книжку (правда, по полгода одну и ту же) и «наладонник», а однажды, давным-давно, Е.С. стала свидетельницей неловкой сцены, когда Баянова орала на какую-то серую мышь из родительниц словами: «Думаешь, ты тут самая культурная?» Столько гнева было в крике Ваниной мамы, что сразу стало ясно, кто на самом деле был самым культурным. Серая мышь, во всяком случае, спорить не посмела.

Теперь Ванина мама нависла над столом Е.С. и начала благодарственную речь. Е.С. на время речи отключила слух, уставившись на Севастьяна Аренгольда, который зачем-то вошел в класс с букетом и делал за спиной у высокой Ваниной мамы непонятные знаки руками. Пальцы у него были длинные и ровные, аккуратные, как палочки для Карининых роллов. Речь наконец закончилась, зашуршал целлофан, и Е.С. был вручен вместе с конфетами еще и пышный букет, который Севастьян подал Ваниной маме, как ловкий ассистент.

– Подожди меня в машине, – лениво махнула ему рукой Баянова, и прекрасный Аренгольд вышел из класса, не взглянув на свою бедную учительницу.

– Вы знакомы? – спросила она, не веря ни ушам своим, ни глазам, ни даже чувствам.

Тяжелый взгляд в ответ – глаза как два черных горячих камня. Давящий взгляд, как намокшее пальто на плечах.

– Мы дружим с его мамой.

Мама Аренгольда и мама Баянова не подружись бы даже в том случае, если бы в мире произошла катастрофа и выжили бы они две, да еще и оказались бы при этом на необитаемом острове. Мама Аренгольда, вспомнила вдруг с ужасом Е.С., и была той самой серой мышью, неосмотрительно обнажившей пред миром свой культурный слой.

На прощанье палец с расписным ногтем прижал к столу коробку конфет. Вот у этой женщины всё должно быть нормально с отпечатками пальцев, и в Англию она въедет прямиком в своем вагоне, и юный Севастьян, от которого пахнет мятной карамелью, сидит в ее джипе, пристегнутый ремнем безопасности. Не способным уберечь от катастрофы.

Он правда там сидел – в окно Е.С. увидела, как джип уезжал со школьного двора. Старенькая мама Е.С. называла джипы «фордами». Ваня махал рукой с заднего сиденья неясно кому, и учительница машинально помахала ему в ответ.

Тот, кто считает, что из любой ситуации есть выход, безбожно и страшно врет. Выхода чаще всего нет, и человек, угодивший в западню – неважно, по чьей вине и воле, – устав кружиться в его поисках, смиряется и привыкает. Одни люди начинают от-

рицать свою беду, удивляются и даже сердятся на тех, кто ее замечает. Нельзя жить иначе, чем мы! Так всё и задумано! Я именно этого хотел! Другие превращаются в преданных сторонников несчастной судьбы, смакуют страдания – свои и чужие – и ждут новых ударов стойко и даже радостно. Радостоскорбие, сказал бы священник из квартиры напротив. И есть еще третьи люди – в их жизни много стертых отпечатков и неудачных оттисков, но иногда им выпадают странные, счастливые дни. Между такими днями будет много скудных, тощих лет, но как иначе понять, что этот день пришел, что мы до него дотерпели?

В мире устало хозяйничала поздняя весна. Английская королева выбирала шляпку для свадьбы внука. Ваня Баянов не понимал, почему его третий вечер подряд увозят ночевать к бабушке. Ева Саваофовна возвращалась из сада в мыслях о погибшей яблоньке, рассаде и новом заборе. Евдокия Степановна мечтала о том, чтобы все ее знакомые однажды увидели, как ловко она управляется с новыми технологиями (себя она представляла при этом почему-то в коротком балахоне и с микрофоном – как Аллу Пугачеву). Екатерина Семеновна плакала над фильмом про собаку, которую пришлось усыпить, и гладила морду любимой боксерши Булочки, иногда, впрочем, случайно любуясь своим отражением в зеркале: такая милая, зарёванная! Елена Сергеевна шла в библиотеку отдать

туда книжки своей умершей соседки – сплошь детективы и низкопробный гламур. Егор Соломонович спал и видел во сне, как он увольняет странную Евангелину Сидоровну, а Евгения Самуиловна с интеллигентной улыбкой уговаривает его поставить себя на ее место. Журналисты писали новые статьи, где свежими задорными сорняками росли прилагательные восхищенно-превосходного толка. Виталий только что приступил к новому этапу борьбы с головами, а Е.С. шла домой – в постылую тюрьму квартиры, к чужим, нелюбимым, но дорогим и единственно возможным в мире людям, с которыми она обречена жить долгие годы до старости или умереть в разные дни.

На пороге стояла Карина – бледные грязноватые ноги, кудряшки, голодный взгляд.

– Роллы жду, – сказала она матери.

В дверной глазок на них опять смотрела девочка-попадья. Ей ужасно хотелось, чтобы муж скорее пришел, у нее была для него самая важная в мире новость, но муж в это время окормлял духовных чад.

Е.С. развернулась и побежала вниз по лестнице как раз в тот миг, когда из лифта вышел посыльный с пакетами. Она давно не бегала, это оказалось неприятно, но она не останавливалась. Время летело с ней рядом, то нагоняя ее, то чуточку отставая, но всякий раз оказывалось так близко, что его можно было ощутить на щеках, волосах, ресницах.

Анна Матвеева

Время было нежным, безжалостным и таким тихим, что Е.С. не сразу разобрала слова, которые оно произносит.

Потерпи еще немного, и этот день придет.

А потом пройдет и он, но ты об этом уже не узнаешь.

На картине

Я так устала кривить душой!

Уже душа, кажется, стала кривой. Скоро, наверное, не смогу отличать хорошее от плохого и то, что мне нравится, – от того, что безразлично. Или даже противно пока еще не окончательно искривленной душе.

Иногда я так устаю, что пишу сама себе письма с приободрениями – и отправляю их с одного ящика на другой. С мейла на джимейл. «Зоенька, – пишет мейл, – всё у тебя будет хорошо, потерпи!» Джимейл открывает конверт и вздыхает, сам обманываться рад.

Утром я просыпаюсь, как всегда, в расстегнутой на груди пижаме. Будто всю ночь рвала на себе рубашу, доказывая свою искренность и прямогу души. Сон еще мреет, висит над кроватью, в комнате пахнет ночью, и глаз открывается только один. Сон мог бы согдиться для новой картины Арчибалда Самойлова, который любит изображать всякую живность. Мне снилась горка, какие бывают в аквапарках, только стояла она посреди редко-

стно гадкого болота. В болоте зеленела сопливая и густая жидкость – даже в пустыне водой не назовут. Увы, по всем законам сновидений мне следовало лихо съехать с горы и погрузиться в жидкую дрянь – но по приземлении это перестало быть важным. Внизу меня ждали, каждый сидя на своей кочке, черепаха и пеликан.

– Хм, – скажет мне днем Арчибальд Самойлов, – пеликан – это христианский символ. Раньше люди верили, что пеликан вскармливает своих птенцов кровью. Что он приносит себя в жертву, как Господь Наш Иисус Христос принес себя в жертву людям.

На этом месте Самойлов осенит свою широкую грудь неспешным крестным знаменем – тоже широким – и резко взглянет на меня в ожидании ответного жеста. Я же буду тупо смотреть в пол и вспоминать пеликана из предутреннего сна – он был розовый, с наглыми карими глазами и белесыми ресничками.

– А черепаха что символизирует, Арчибальд Сергеевич? – вежливо спрошу я у художника, но черепаху он истолковать не успеет, потому что придет время открывать выставку и встречать ГББ (Глупых Богатых Баб – наших постоянных клиентов во главе с Юлией Конурой).

Выставка называется «14.11.XX», но лично я назвала бы ее «Хочу стать Уорхолом, прославиться и накопить бабла». И до того как она откро-

ется, мне надо успеть сделать столько всего, что даже о сопливом болоте из своего сна вспоминаю не без сожаления. Тем более черепаха там была вполне симпатичная. Она так тянула ко мне свою маленькую – на одну мысль! – головку...

По пути в галерею меня останавливают самые разные люди и предметы, сговорившиеся, как в русской народной сказке – когда гребень превращается в лес, а зеркало – в озеро. Вначале мне звонила мама с жалобой на Тасю. Это моя дочка, я попросила маму посмотреть за ней буквально пару дней, но пара дней – уже много. Тася не хочет читать прописанного мамой Баратынского, хуже того, она стащила с запретной полки Юза Алешковского и читала его под одеялом, с садовым фонарем.

– Ей хотя бы понравилось?

Мама возмущенно отключается. Зато на связь выходит сестра Жанусик из Швейцарии, где она уже два года замужем за человеком, выписанным из специального брачного агентства. «Что-то рано она зачесалась», – задумчиво говорила наша мама про Жанусика, которая бегала на свидания с пятнадцати лет.

В кантоне З. ясное утро. Жанусик оглушительно щебечет (не вслушиваюсь, что-то про скорую поездку на курорт и триумф среди мужской части русской диаспоры), я пытаюсь варить кофе, который сбегает из турки при первой возможно-

сти. Побег из Шоушенка! Зубастые коричневые кляксы остались на плите и даже на полу (Жанусик заливается соловьем и произносит названия, которые звучат, как ругательства на все буквы, – Энгадин, Граубюнден). Бесплатные концерты соловьев и лягушек давали за окном каждую ночь еще целый год после того, как мы переехали в этот дом.

Кляксы напоминают недавнюю инсталляцию Игоря Ивлева – еще одной нашей звезды. Не исключено, что именно кофейными пятнами и вдохновлялся Ивлев, сочиняя свою композицию. Называлась она «Голубой обнаженный в розовом свете», и ГББ чуть с ума не сошли, пытаясь купить ее все вместе и каждая в отдельности. Игорь отказал всем скопом, даже Конура отползла без покупки – в ту пору, как на грех, был ретроградный Меркурий, и не следовало совершать рискованных сделок. Астрология, фэн-шуй, НЛП и карты Таро для Ивлева важны в точности так же, как для фермера – прогноз погоды. Работы свои он размещает в пространстве лично, утром и вечером общается с мирозданием, а однажды я застукала его за тем, что он пытался перевесить зеркало, висевшее в галерее напротив входа.

– Очень плохой фэн-шуй, – качал головой художник.

– Очень плохой Игорь Иванович! – сказала я, и отобрала у него зеркало, и повесила на прежний

гвоздь. Ужас, какая бледная я была в тот день! Лучше бы вообще не отражалась.

Жанусика, как говорит мама, «не переслушать» – я продолжаю блеять, вставляю свои три словесные копейки и ухом прижимаю телефон к плечу. Лифт, приветливый оскал для консьержки, а потом всё так же, ухо-трубка-плечо (чем не инсталляция?) – к стоянке. Машина ледяная и задубевшая, как белье, оставленное морозной ночью во дворе.

– Зоя, ты прости меня, – вдруг говорит Жанусик между ухом и плечом. – Ко мне пришла массажистка – проходите, Аллочка, – она только в шесть утра может, я тебе позже обязательно перезвоню! Извини, что на полуслове прерываемся...

В оттаявшем зеркале дальнего вида – моя голова с одним белым и одним багрово-красным ухом. Портрет неизвестной, начало XXI века.

Какое счастье, что в галерее еще никого нет – поздние пташки. Ни души, кроме сторожа Василия Васильевича, он же – охранник Вась-Вась. Душа Вась-Вася широко открыта для диалога, у него рыжие брови и кудри, как у женщин на картинах Лукаса Кранаха, у него форменная куртка с шевроном ЧОП «Надежда-1999» и стойкая привычка пересказывать сны в подробностях. Иногда мне кажется, Вась-Вась не понимает разницы между сном и мечтой, так вдохновенно звучат у него некоторые эпизоды – по-моему, увидеть такое во сне

мог бы только Феллини. Или Антониони. Впрочем, мои черепаха и пеликан – тоже не слабо. Сейчас можно бы отплатить Вась-Васю за мучительные минуты, когда он, прижав меня к стене, излагал сновидения – будто я не работник галереи, а какой-нибудь Зигмунд Фрейд. Никому больше – ни Гере Борисовне, нашему директору, ни ГББ, ни художникам – Вась-Вась и не пытается открыть свою сонную душу.

– Доброе утро, Зоя! – угрожающе говорит Вась-Вась. – Ни за что не угадаешь, что мне сегодня приснилось.

– Я даже и пытаться не стану, Василий Васильевич, – вежливо отступаю в сторону моего кабинета, куда Вась-Вась ни ногой.

– Забеги потом, – кричит охранник, – я тебе расскажу. Это не сон, а целый фильм, с моим участием в главной роли!

Дверь закрыта, кабинет с ночи проветрен и холоден, как улыбка Геры Борисовны, которая воссияет передо мной ровно через двадцать минут:

– Доброе утро, Зоя, как дела, ты готова к выставке, ничего не забыла?

Гера Борисовна, собственно, и есть настоящая галеристка, а я – ее заместитель и галерная рабыня. Хозяйка младше меня на два года, но выглядит старше на десять, и я ее от всей души боюсь и уважаю. Я вообще боюсь людей, которые без конца учатся и получают всё новые и новые знания. Мне

кажется, это латентные сектанты. У них и лексикон подозрительный – тренинги, семинары, групповые занятия, самопрезентации.

Улыбка Геры Борисовны почти безупречна – только один из верхних зубов («четверка», как говорят дантисты) слегка провален, как запавшая клавиша в старом рояле. И эта улыбка стремительно исчезнет, если я вдруг облажась с открытием «14.11.XX». Название придумал Арчибальд Самойлов – каюсь, не хватило сил выслушать полную версию трактовки. Я, впрочем, запомнила, что это сразу и прощание с двадцатым веком (хотя все, кроме Самойлова, с ним уже давным-давно простились), и наше заиксованное, непостижимое будущее, и легкий, игривый намек на фривольное содержание работ. Если вы, конечно, увидите в этих картинах вообще хоть какое-то содержание.

Я пристрастна к выставленным работам. При том, что люблю и всегда любила именно современное искусство, со всеми его странностями и сложностями. Я еще в детстве поняла, что «Черный квадрат» – это не картина, а дверь и что Пикассо умел рисовать не хуже Караваджо, ему просто скучно было, вот потому и появились все эти двойные носы, и жирные пальцы-лепестки, и страшный плач Доры Маар.

Однажды в Помпиду я видела пару влюбленных туристов – высокий он, с красивым, правильным лицом (в Лувре сошел бы за статую) и ма-

ленькая она, в кургузой юбке, сшитой, кажется, из полотенца. На шее у девушки – бусы из войлочных шариков, на мордочке – всё счастье мира и победоносная ухмылка. Видали, какого отхватила? На картины они успевали смотреть постольку-поскольку, им в эту пору – краткую, сладкую, которая отравит впоследствии всю жизнь, – было интереснее разглядывать друг друга (а ей – еще и отслеживать реакцию толпы). Но вот малышка всё же, не переставая одной рукой висеть на милом локте, а другой – теревить на шее войлочные шарики, уткнулась взглядом в работу Виллема де Кунинга, глаза в глаза очередной его красотке. Разметавшаяся по холсту, жуткая и прекрасная, как страшный сон реалиста, она весело смотрела из рамы. Девушка вначале вздрогнула – как бывает в кино, когда из-за кустов неожиданно выскакивает отрицательный участник конфликта. А потом, потом она расхохоталась, и чтобы веселье ее не опошлило вдруг высокий мир настоящего искусства – всех нас, эстетов в очечках, застывающих у картин с будто бы перехваченным от волнения дыханием, – малышка уткнулась в грудь трофейной статуе, и забулькала, захрюкала, зареготала там от души. Статуя счастливо целовала свою дурицу в макушку. Это было насколько нелепое, настолько же и завораживающее зрелище – и будь я художник, а не галерная рабыня, непременно запечатлела бы его не только в памяти.

Ах, как украсил бы Виллем де Кунинг стены нашей галереи – но у нас здесь сплошной Самойлов с его вымороченными радужными тиграми, у нас Игорь Ивлев, потерявший на пути от Уорхола к Поллоку свой собственный голос, у нас подающая надежды Диана Королькова, которая подает их вот уже третье десятилетие кряду, у нас – великая Анна Венецианян, ради которой в галерею заруливают иностранные старухи, похожие на интеллигентных русских стариков. Иногда Гера Борисовна берет «на пробу» никому не известных авторов, но наш основной контингент, ГББ, страшно боятся новых имен, поэтому никому не известные авторы – редкие гости на наших стенах. Вот почему я удивилась запакованной по всем правилам картине с незнакомой фамилией на обороте. Весноватов.

Картина стояла прислоненной к моему столу – получалось что-то вроде маленькой палатки. Галеристы видят инсталляции даже там, где они не задуманы.

– Да, похоже на палатку, – сказал кто-то за моей спиной. Прозорливец был невысоким, с вениковой поповской бородой. Типичный художник за гранью успеха, обратный путь с ярмарки. Весноватов... К такой фамилии требовались веснушки, но их не было.

– Вообще-то, у меня здесь кабинет, а не склад, – я сразу пресекла попытки задружиться. – Вы чьих будете?

– Строгая! – восхищенно сказал художник. Он сгреб свою бороду в кулак и, кажется, собирался засунуть ее в рот, но передумал. – Как с холопом! И то верно – нечего нас распускать, а то на шею сядут. Вон у вас на шее уже сидит парочка, видите?

Я глупо схватила руку за шею, но там не было ничего, кроме шелкового шарфика, подаренного Жанусиком. Она всегда дарит мне шарфики – если их связать между собой, получится такая веревка, что можно спуститься вниз из крепостной башни. Художник довольно расхохотался. Потом схватил картину и разорвал на ней обертку – я вдруг подумала, что он точно так же рвет белье на любовницах.

– Не рву, не вру! Георгий Весноватов! – представился он, выставив картину передо мной, словно защищаясь ею.

И я увидела буро-зеленую сопливую воду и высоченную гору, похожую на слона с поднятым хоботом. А еще там были черепаха и пеликан, каждый сидел на своей кочке. Пеликан смотрел наглыми карими глазами, черепаха тянула ко мне маленькую глупую головку.

Весноватов, как все художники, пытался считать с моего лица истинную эмоцию, неподдельное впечатление, в общем, как вы думаете, хорошо получилось или продолжим творческие поиски?

– Доброе утро, Зоя, как дела, ты готова к выставке, ничего не забыла? – раздалось всё там же,

за спиной. Это была Гера Борисовна, она сияла улыбкой и тянула сушеную лапку Весноватову. Хозяйка очень гордится своей худобой – я видела много раз, как она ест, и могу подтвердить – это очень диетическое зрелище.

Весноватов аккуратно принял лапку и чмокнул над нею воздух.

– Что скажешь, Зоя? – спросила Гера, любуясь черепахой с пеликаном. – Смело и неожиданно, правда? В этом есть кураж, идея. Найди, пожалуйста, место для работы Георгия...

– ...Ивановича, – подсказал Весноватов.

Мы с Георгием Ивановичем шли по главному залу – развеска почти закончилась, только Игорь Ивлев всё еще вымерял по фэн-шую места для своих работ. Рядом с ним переминался с ноги на ногу шаман с бубном. Но мне впервые в истории было не до Ивлева и не до его безумств.

Бесноватый! – думала я. Интересно, как называется его работа?

– «Сон девушки», – с готовностью откликнулся Весноватов.

Я уже не удивлялась, что он читает мои мысли, к этому, оказывается, легко привыкнуть. Либо я столкнулась с чем-то непознаваемым, чего в принципе не люблю, ибо я не Игорь Ивлев, либо сошла с ума от недосыпа и жизненных разочарований. Мир в последние годы виделся мне серым – как у зайца под хвостом.

– Знаете, к чему снится пеликан? – спросил Весноватов загадочным голосом, но я не успела заинтересованно кивнуть – к нам плыл быстрый и безжалостный теплоход «Арчибальд Самойлов».

– Не сомневаюсь, что в честь него однажды действительно назовут теплоход, – откликнулся Весноватов.

– И он затонет в речном круизе.

Как-то слишком быстро я привыкла к тому, что человек запросто хозяйничает в моей голове.

– Я ничего не стащу, не волнуйтесь! – будто бы обиделся Весноватов, и борода его обиженно задрожала, как стяг на октябрьском ветру.

– Доброе утро, Зоенька! – с преувеличенной радостью приветствовал меня Самойлов, лобызая руку и ревниво поглядывая на чужака. – Видела моих?

Он всегда говорил о своих картинах, как о живых. Одушевлял. А вот детей, наоборот, сводил до предметов – внуки раздражали его тем, что хотят есть и бегают.

– Сейчас посмотрю, Арчибальд Самойлович.

Мы резко свернули за угол, и я ударилась взглядом о полотно «Демииургия». Красно-бело-фиолетовый компот, присыпанный черной шелухой, и в левом углу – клетчатый тигр.

– Рак глаза! – прошептал потрясенный Весноватов.

Когда Гера Борисовна задумывала нашу галерею, она, как и другие близкие искусству люди, мечтала продвигать самое передовое, смелое, необычайно талантливое. Подлинное.

– Искусство, – говорила тогда Гера, – это когда твой мир совпадает с миром художника. Или не совпадает, но ты можешь принять его мир. И открыть его близким по духу людям. Или даже не близким.

В то время как Гера выдавала подвыпившим слушателям определения искусства, одно за другим, я разводилась с Тасиным отцом. С юным своим, возлюбленным мужем Александром, единственный грех которого был в том, что он принес домой не ту картину.

Мы учились в художественном училище и любили друг друга, а заодно и весь мир, как сказал бы переводчик Андерсена, в придачу. Я бы простила ему всё вплоть до измены, но он принес домой портрет мертвой женщины.

Мертвой она была задолго до того, как ее портрет был написан. Никто не позаботился о том, чтобы закрыть покойнице глаза, и она смотрела на зрителей – страшными, невидящими очами. Не такими, как у Модильяни – те живые, хоть и слепые, а эти – с тенью улетевшей жизни. И на ней было платье с белым воротничком, с таким домашним, уютным рисунком – что-то похожее носила в молодости моя мама, я помню это платье вместе с запахом.

Александр нежно держал картину, обнимая раму, как живые и теплые плечи.

– Копылов-Масальский, – сказал он. – Настоящий Копылов, осознаешь, как нам повезло?

Кирилл Копылов-Масальский был художником такого калибра, что восхищаться им следовало вне зависимости от того, что именно он «накрасил».

– Старик, я тут нарисовал картинку, – небрежно ронял мэтр, и старик, будь ему даже двадцать лет от роду, начинал восторженно кивать головой. Критику Копылов не воспринимал в принципе, а чужие успехи были для него словно отравленные стрелы.

– А! А! – страдал Копылов, морщась и слушая, как хвалят других. На совместных пресс-конференциях он всегда говорил: – Если ко мне нет вопросов, тогда я пошел.

И громко двигал стулом – чтобы ножка проскребла по полу, как звуковой сигнал последней возможности.

Копылов-Масальский ревновал славу ко всем, даже к Ренуару и Леонардо да Винчи, но в атмосфере искусственного почитания и обожествления талант (а он у него, несомненно, был) художника поник и увял, как цветок, подаренный не от чистого сердца. Тяжелее всего приходилось ему в последние годы, когда над миром взошла слава Анны Венецианян. Эта живописица всякий раз тупила

глазки и признавалась, что ее мазня не идет ни в какое сравнение с картинками, которые накра-сил Копылов. Что он – истинный Мастер, а она го-дится только для того, чтобы омывать ему кисти и ноги (насчет ног и кистей не знаю, но в мастер-ской у него Венецианян одно время совершенно точно мыла полы. Не исключено, что собственны-ми юбками – они всегда выглядели так, словно ими что-то вымыли. Причем не раз). Что он – это наше всё, а она – ничье Ничто. Все попытки подхвалить художницу обращались в истерику – Анна кричала и билась, доказывая собственную беспомощность.

– Сжечь, сжечь эту картину! Я бездарность! Я недостойна даже докуривать за Копыловым!

Картины у Венецианян были изумительные. Странно, что она этого не понимала. Изумитель-ные они были и в переносном, и в прямом смысле слова – актуальном для меня «выживший из ума». Образованная Гера Борисовна однажды провела прямую параллель между Анной Венецианян и Эрнестом Хемингуэем. Хемингуэй никогда не верил чужим похвалам – даже друзей. А еще у не-го была пейрафобия, боязнь публичных выступле-ний, – и это тоже про Анну. Надо было очень не любить в детстве маленькую девочку, чтобы из нее выросло такое мучительное создание.

– Так не пишите, раз бездарность, – резонно ска-зал ей однажды Арчибалд Самойлов, хмуря бро-ви. Брови у него были такого же размера и разреза,

как глаза. По две темные полосы, одна под другой – не человек, тигр.

Анна Венецианян не послушалась, продолжала, по собственному выражению, марать холсты и домаралась до всемирной славы.

«Ужас! – писала Венецианян в своем блоге, ставшем местом паломничества нескольких тысяч поклонников актуального искусства. – Мою раскраску купил миллиардер Дэвид А. Прямо как-то неудобно, что эта мазня будет висеть на одной стене с Ван Гогом».

Под верхним слоем недовольства собой у Венецианян лежал жирный пласт самовлюбленности.

А Копылов-Масальский, тот просто захлебнулся однажды от зависти к ней и умер, дописав в последний день своей жизни «Портрет мертвой музы» – именно так называлась картина, которую принес домой мой муж.

– Ты должен выбрать одну из нас, – сказала я. – Вместе нам не выжить.

Я уже была беременна Тасей. А муж выбрал картину.

Когда мы разводились, в графе «причина расторжения брака» мы, не стовариваясь, написали: «Эстетические разногласия».

– Придурошные, – вздохнула мама. – Ну хотя бы внука мне роди, Алешечку.

Я родила Тасю. Она своевольная, кудрявая, с такими голубыми глазами, что смотреть больно.

В детстве один мальчик рассказал мне, что, если долго смотреть в голубое небо, глаза станут такого же цвета. Я очень старалась, но глаза остались карими.

Голубчик Тася, понятное дело, мечтает именно о карих. Переходный возраст у нее начался в два с половиной года и продолжается вот уже десять лет. Я привыкла.

Весноватов нашел место для своей картины – между окном и работой Венецианян, которая не продается, но висит у нас как «знак вечной благодарности к первой галерее, где меня оценили по достоинству» (цитата из пресс-релиза, посвященного юбилейной инсталляции живописицы в музее МоМА. Копылов-Масальский на том свете скрипит зубами и вертится в гробу так громко, что пугает ворон и собак – на этом).

– Да, такое надо было разглядеть, – согласился Весноватов, пристраивая свой «Сон» рядом с «Анонимной бурей». – Не сразу понятно, что, но какие мазки!

Мазки торчат из картины, как иголки у шоколадного ежа – их особенно хорошо видно сбоку. А я представляю себе гинеколога, повторяющего над стопкой расшифрованных анализов: «Ах, какие мазки!»

– Зоя, – погрозил мне пальцем Весноватов. – Осторожнее с мыслями. А это у нас что?

Он имел в виду застекленную витрину, в которой дружно соседствовали товары народных промыслов и кустарных усилий. Выживать надо, говорит Гера Борисовна, и берет на реализацию валяных зайцев, серебряные бусы и уральские минералы на подставках.

ГББ презрительно морщатся на эту витрину, но директриса непреклонна. Все наши клиентки, орда крашенных блондинок на джипах, непобедимая армада толстогубых, как африканские божки, вечных девушек, все, вместе взятые, покупают не так много, как надо. А валяные зайцы и минералы – никогда не подведут.

Однажды я взяла в галерею Тасю, и та поделилась с Юлией Конурой, как ей хочется нормальную машину (у меня – ненормальная), айфон и одежду из бутика. Конура премило улыбалась, а потом заявила мне:

– Не представляешь, как тебе повезло! Сколько у ребенка желаний! Ярослав у меня так легко не угодить.

И царапнула ногтем по витрине, и войлочный заяц упал в обморок.

В зале появился Вась-Вась. До чего он рыжий и кудрявый! Никак не привыкну.

– Ну, это не преступление, – опять укоряет меня Георгий Иванович. – Или вы подумали про Иуду?

Вась-Вась идет к нам замедленной походкой, какой ходят супергерои в американских фильмах.

– Какое преступление? – тревожно спрашивает он и даже хватается за кобуру. Как я раньше не видела, что она похожа на кошелек?

– Да мы о своем, не переживайте, – смеется Весноватов. – Открывать пора?

Я ничего не успела, ничего!

Приехали журналисты, им пообещали, что будет сама Венецианян. Юлия Конура со своей Ярославой (она ее зовет «Ярослава у меня». А про Россию говорит: «Эта страна») властно отодвигают гостей и первыми входят в галерею. За ними идут остальные ГББ. Они похожи, как сестры, – удлиненные блондинки с раздутыми губами. Большая часть ГББ удачно развелись. Раньше было принято выгодно выходить замуж, а теперь – выгодно разводиться. Так, чтобы денег хватало и на губы, и на искусство. Искусство они постигают с помощью своей женской сущности – поправляют прически, глядя в отражения застекленных портретов.

Я приветливо встречаю ГББ и внезапно вспоминаю другой свой сон. Вокзал, поезд, вагоны с уютным желтым светом, хотя внутри, я знаю, ничего не поменялось со времен советской железнодорожной юности. Титан для кипятка, похожий на скульптуру Тэнгли, спящие старцы и Сусанны, рулеты из матрасов с начинкой из подушек, а также потная вареная курица в полиэтиленовом кульке.

Я бегу к поезду, надо занять место – и все бегут со мной, и ГББ, и Гера Борисовна, и Вась-Вась, и Жанусик, и мой муж Александр, и мама с Тасей за руку. Это такое счастье было – делать что-то вместе со всеми, а потом они успели занять места в поезде, а я – нет. Я стояла на перроне и смотрела, как проплывают мимо желтые, маслянистые от уюта окна, и плакала.

– Это был сон о смерти, – мягко говорит Весноватов. – У меня есть такая картина.

– Вы что, все мои сны нарисовали?

– Не только ваши.

Юлия Конура с разбегу впечатывает мне в щеку липкий поцелуй и так смотрит на Весноватова, словно его тоже надо поцеловать, но она в этом не окончательно уверена.

– Георгий Иванович, – сообщаю я. – Весноватов. Его работа висит рядом с «Анонимной бурей». Ты сразу увидишь.

– Мам, ну сколько можно? – сердится юная Ярослава и ставит руки в боки, превращаясь в букву Ф. – Когда мы уже уйдем?

– Ярослава у меня устала, – Конура тянет девочку за собой.

Мне нужно работать – развлекать гостей, помогать художникам. Я иду к Игорю Ивлеву, голос которого трещит в микрофоне, как полено в печке. Оплаченный шаман то ли уже камляет, то ли только собирается.

– А вам я бы предложил почиститься с бубном, – говорит он мне в спину.

Шаман молодой, симпатичный, но я его не вижу. В галерею вошел О.Н., и теперь я вижу только его.

В таком возрасте, как у меня, уже не влюбляются, но я не виновата. В О.Н. влюблены все, включая Тасю и мою маму, Конуру и Геру Борисовну, и даже Игорь Ивлев начинает кокетничать, когда О.Н. пронзает взглядом очередную «Композицию № 16» (белые шарики на голубом фоне).

– «Манна небесная», – угодливо поясняет Ивлев. А шаман нервно встряхивает бубном.

О.Н. всегда садится со мной рядом, и мне совсем не остается воздуха. Я начинаю думать такое, что бедный Весноватов испуганно прыгает в сторону. Потом краснеет, уходит, и я ему за это благодарна. О.Н. – директор завода, меценат и коллекционер, но всё это не имело бы значения, не будь он таким красивым. И он любит шептаться со мной, пока текут скучные речи, и в такие минуты я забываю, что он, по выражению Конуры, спит с «полгородом».

О.Н. – манна небесная, его на всех хватит. Но я не хочу ее пробовать – выше и лучше, чем сейчас, не будет, я слишком взрослая, чтобы не понимать такие вещи. Тем более сейчас О.Н. не спешит садиться рядом – появляются дорогие гости, Венецианян со свитой – под предводительством моего

бывшего мужа Александра. Он расширился, а еще потемнел, как плохая картина. А раньше был похож на ликующего ангела.

Венецианян идет впереди всех, как положено, вместе со своей пейрафобией. Десять раз предупредила, что не будет выступать – хотя мы и не просили. Потемневший ангел подходит ко мне и смотрит обиженно, глаза в глаза. Но я вижу, у Александра есть козырь под крылом. Сейчас он швырнет его на стол:

– Помнишь «Мертвую музу» Копылова? Так вот, я вчера продал ее Анне Вазгеновне и готов купить Таське айфон, айпад и что там еще у нее в списке.

Ай-ай-ай.

У Венецианян в руке – как икона у богомолки на крестном ходе – торчит упакованная картина.

«Где же ты, Весноватов?» – думаю я. И он появляется:

– Туточки! Не волнуйтесь, сегодня я весь ваш.

– А завтра? – глупо спрашиваю я. Но Весноватов не отвечает, а снова комкает свою бороду и пытается засунуть ее в рот.

Александр брезгливо смотрит на художника и возвращается в стадо Венецианян.

Шаман берет с подноса бокал с шампанским и лихо выпивает его одним глотком.

Юлия Конура стоит перед картиной «Сон девушки» и так смотрит на нее, как я – на О.Н. Она

так ощутимо хочет эту работу, что мне становится неловко. Нельзя видеть людей в такие моменты – Конура, если честно, красавица, но сейчас, во взалкании, она выглядит как героиня триптиха Арчибальда Самойлова «Тигриный шабаш в деревне Колютково».

– Жуткое зрелище, – согласен Весноватов.

А мне звонит Жанусик. У нее дар – звонить некстати, и она этим даром активно пользуется.

– Ну что, как дела? – веселый голосок в трубке слышу не только я, но и все окружающие. Венецианян вздымает густую монобровь. Самойлов хмурится и цыкает языком.

Жанусик отлично знает, что у меня открытие выставки. Я злобно выключаю телефон. И думаю о том, что в последний раз не кривила душой в тот день, когда Александр принес домой «Мертвую музу». После этого не было ни одной прямой линии, ни одного искреннего слова.

Весноватов грустно смотрит на меня и молчит. Конура идет к нам, чеканя шаг, рядом раздается плач Ярославы.

– Фи, такая взрослая девица – и плачет, – пытается пошутить Весноватов, но Конура окидывает его ледяным и одновременно с этим испепеляющим взглядом. А потом вспоминает, кто это, и лепечет сладко:

– Я готова купить вашу картину.

– О, даже не знаю, что вам сказать, – откликается Весноватов. – Мы должны спросить Зою.

– Нет! – кричу я. – Ни за что!

Только представлю себе, как мои личные пеликан и черепаха будут висеть на стене в доме Конуры, – ни за что! Дом у нее, я уверена, весь белый, как платная больница.

– Зоя, что происходит? – это угрожающе шепчет Гера Борисовна.

– Зоя? – беспокоится Вась-Вась. У него кошелек в руке, и он, рыжий-бедный, так похож сейчас на Иуду. «Тайная вечеря» по-английски – «последний ужин». Какой примитивный язык!

Даже Венецианян безотрывно смотрит на меня сонными и надменными восточными глазами. Она похожа на верблюда! – наконец-то догадываюсь я.

– Точно! – говорит Весноватов. – Думаю, мне пора уходить.

– А как же картина?

Весноватов подходит к стене и снимает свою работу. Таким решительным движением – как, наверное, платья с любовниц. Смотрит на картину влюбленным взглядом, а потом вручает мне.

– Бери! Надо же тебе выяснить, зачем снится черепаха.

Мы перешли на «ты», а я и не заметила.

ГББ, журналисты, хор и кордебалет – все замерли, трепещут. Венецианян готова забыть о своей пейрафобии – под нею таится ораторская страсть.

Она делает шаг, два, десять к микрофону и начинает бляеть о своей бездарности. И о том, что она торжественно дарит любимой галерее лебединую песню своего бесценного учителя. На освободившееся от моего сна место Гера с Вась-Васем поспешно вешают «Мертвую музу», услужливая Диана Королькова, уставшая подавать надежды, подает им портрет – и поправляет, чтобы ровно висел.

Мне всё верно помнится – портрет ужасен. С годами стал еще хуже, и от этой мертвой тетки пахнет, разит – неужели это чувствую только я?

– Не только, – говорит на прощанье Весноватов. – Кстати, тебя скоро уволят.

– Зоя, зайди ко мне срочно! – приказывает Гера Борисовна и уходит в кабинет, громко стуча копытами. То есть, конечно же, каблуками.

– Я вам скидку сделаю, – обещает подвыпивший шаман, – но вас обязательно надо почистить с бубном.

О.Н. стоит перед портретом и смотрит мертвой музе в глаза. Что сказать – даже она ответила бы ему «да». При жизни, конечно.

Если я чего еще и боюсь, так это того, что О.Н. захочет ее купить.

Вечером Тася приходит ко мне – огромное пижамное дитя. Когда она родилась, я не могла спать две ночи, а на третью уснула. И мне приснился

Анна Матвеева

сон: маленький сверточек с грудной Тасей – весом с войлочного зайца – лежал у меня на плече, но мне было так тяжело, словно меня придавили скалой.

Сейчас у Таси прыщики на лбу и ненависть к прописанному Фонвизину. В комнате припрятаны садовый фонарь и Анаис Нин.

– Мама, я всё забываю спросить, ты меня любишь?

– Только тебя и люблю, Тася. Больше всех на свете.

– И на картинах?

– И на картинах, и во сне.

Я так устала кривить душой. Но, пока Тася рядом, это неважно. И не страшно, что будет потом.

По соседству

Помимо генеральных демисезонных приборок, наводить порядок здесь следовало каждые две недели – а вообще, Абба с трудом удерживала тетку, чтобы та не ездила на кладбище ежедневно.

Она, впрочем, и сама часто скучала по родным могилам – в одной лежит ее мама, теткина старшая сестра, в другой – слева, под березкой – двоюродная Наташа. У мамы скромный гранитный прямоугольник, глядя на который бедная Абба всякий раз начинала высчитывать в уме его периметр и площадь, это отвлекало от слез. У Наташи – единственного теткиного дитяти, доверчиво принимавшего жизнь во всех ее проявлениях, – розовая каменюга неровной формы. Кулгуваара.

На кладбище тетка необходимо и дельно командовала – Аббе нравилось получать точные указания. Иначе стоишь столбом и смотришь, как в трех метрах роют новую могилку – или вообще непонятно на что смотришь. Засохшие цветы, полустертые надписи на венках, смелые – не то что в городе! – собаки и птицы.

Вначале прибирали могилу мамы, потом принимались за Наташину. Абба считала, что теперь это их дома, мамин и Наташкин, и трудилась здесь так, как для живых было бы лень. Они выметали с дорожек старые листья и сосновые иголки, до блеска драили памятники, пропалывали цветники, красили оградки и только спустя несколько часов садились на скамеечку возле Наташиной могилы. Цветы оставляли перед самым уходом – розы Наташе, хризантемы – маме.

Цветы были белыми, а гроб, вспоминала Абба, был у Наташи розовым, как машина для куклы Барби.

Аббой ее окрестили давным-давно: невольной крестной стала тетка, а имя досталось от женщины, которой Варя восхищалась в юности. Ну что это за имя – Варя? Варварское какое-то. И дразнят – то Варёнкой, то Варежкой. То ли дело Анни-Фрид Сюнни Люнгстад – не имя, песня! Варя умоляла мать и других родственниц своих называть ее Фридой, а еще вырастила челку и научилась подводить глаза, как прекрасная шведка.

Родня на «Фриду» не согласилась, зато тетка выучила название группы, которую Варя слушала целыми днями – даже уроки делала под *“The day before you came”*. Так и пошло – «Абба, поди сюда», «Абба, помоги Наташе с математикой», «Абба, ждешь отдельного приглашения?».

Мужчинам впоследствии прозвище тоже нравилось – не было никакой оторопи, все быстро привыкали, а те, кто подороже, даже отмечали явное сходство Варвары-Аббы с Анни-Фрид Сюнни Люнгстад.

Единственным человеком, который всегда звал ее только Варей, была Наташа. «Аббу» она игнорировала, как и шведские песни. Но Наташи давно не было на этом свете – даже сирень, которую тетка посадила у могилы летом смерти, выглядела вполне по-взрослому.

За несколько дней до пятого мая тетка начинала вздыхать, а потом впрямую говорила, что Абба, если ей так легче, может не ездить с ней на кладбище. Но это были просто слова – как «доброе утро» или «прости, пожалуйста». Они ничего не значили.

Пятое мая – день рождения Аббы и день смерти Наташи. По чьему-то остроумному замыслу даты объединились и закольцевались так, что Аббе каждый раз приходилось напоминать себе о том, что это и ее день. День, в который ей исполнится тридцать пять и в который Наташа навеки осталась двадцатилетней.

В детстве Абба каждый год с надеждой подходила к отрывному календарю, чтобы увидеть там что-нибудь хорошее – карикатуру, пословицу, хотя бы рецепт борща! Но из года в год пятого мая в ка-

лендаре была одна и та же картинка – бородатая голова Карла Маркса, родившегося в день рождения Аббы. Каждый год – одна и та же бородатая голова без шеи, с которой, наверное, охотно сразился бы пушкинский Руслан.

Может быть, уже тогда, в детстве, Абба поняла, что ее желания будут исполняться с большим опозданием – или же не сбудутся никогда.

У Наташи всё было иначе. Тетка и мать всегда хвастались каждая своей девочкой, но никто не мог спорить с тем, что Наташа по праву имела право на самое лучшее. Она была таким ребенком, о котором мечтают бездетные и в существовании которого – легче поверить в инопланетян! – сомневаются многодетные. Послушная, красивая, с белокурыми косами, с пятерками по всем предметам, открытая, как говорили, захлебываясь слюной восторга учителя, всему новому. Учила стихи, знала французский, читала наизусть «Временами хандра заедает матросов...» и «Парижа я люблю осенний, строгий плен».

Тетка любила вслух мечтать о том, какая сказочная судьба ждет Наташу: дочь сделает карьеру, у нее будет свой бизнес, два (нет, лучше три!) высших образования, муж из принцев и дети-куклы. В мечтах тетка обставила Наташино будущее в мельчайших подробностях, и, конечно, мечты подслушал тот же, кто закольцевал впоследствии два события, случившихся в один и тот же день.

Вначале никто и не понял, что с Наташей, – даже Абба, которая, несмотря на старшинство, всегда была у сестры на подпевках, даже она не разобралась, в чём дело. Наташа училась на первом курсе политеха, поступила на бесплатное, чем тетка страшно гордилась. Она почти одновременно стала студенткой и женщиной – опытом физического перевоплощения Наташа без стеснения делилась с Аббой, всё еще не решившейся к тому времени распрощаться с девством.

Мальчика звали Петр – это была единственная подробность, помимо физиологии, которую запомнила Абба. К первой сессии Петра сменил Миша, а потом появился Фабиан – это было прозвище, и оно Фабиану подходило. Фабиан-наркоман. Глаза, яркая рубашка – всё в синем шагаловском цвете, а еще у него была неприятная привычка нюхать время от времени свои пальцы.

Абба общалась с Фабианом по телефону – он говорил всегда помногу, начинал вдруг пересказывать рецепты каких-то блюд или сюжеты фильмов, сбивался, начинал сначала, в общем, это было мучение. Фабиан весь был – мучение. Он, кстати, жив – после Наташиной смерти каким-то невероятным стечением обстоятельств и усилий завязал и теперь всего лишь пьет по-черному, что всем привычнее. Шагаловские глаза наверняка выцветли – как выцветает всё, оставленное без ухода и присмотра.

Абба служила искусству – вела детский лекторий в филармонии, а вечерами читала корректуру в деловом журнале. Тетка работала в гардеробной частной школы – там, несмотря на частности, изрядно пахло ногами. По вечерам они подробно, растягивая каждый момент, ужинали и потом садились за пазлы или вышивку. Накануне очередного пятого мая тетка с племянницей как раз закончили очередную картину – разобранную на несколько тысяч деталей «Клятву Горациев». Абба искоса глянула на тетку, как она старательно поправляет гигантское полотно, изъязвленное множеством трещинок, и в очередной раз удивилась, как ей удалось не сойти с ума и вообще выжить.

Она хорошо помнила тот день. Абба ждала «скорую помощь» у подъезда, тетка была с дочерью в комнате, у Наташи закатывались глаза, она уходила. «Скорая» всё не ехала, рядом с Аббой, мерзнувшей в тонком пальто, договаривались о пьянке мусульманские гастарбайтеры – они снимали две квартиры на первом этаже. Абба старалась по-человечески относиться к этим чужим во всех смыслах слова людям, но именно эти не ценили попыток и вообще вели себя не по-мусульмански: много пили, водили к себе девиц и курили в подъезде, размазывая чинарики по полу. Наконец часть гастарбайтеров отправилась за водкой, часть вернулась в квартиру, предвкушая скорое пьянство.

Абба смотрела на окна, вспоминала свою жизнь в этом доме – как тетка с Наташей забрали ее после маминой смерти, как она плакала ночью, и как маленькая Наташа влезла к ней под одеяло и гладила ее волосы, утешая и по-взрослому приговаривая: «Ну, ну, не плачь, не надо, Варя».

Сейчас за окнами хозяйничала смерть, а «скорая» всё не ехала и не ехала. Вот уже и мусульмане вернулись с водкой и начали орать за окнами, только тогда на горизонте блеснули круглые холодные фары.

Врачиха с ярко-розовыми, не идущими к ней губами, не разуваясь, прошла в комнату и тут же взорвалась руганью, как будто была набита ею до отказа и та, наконец, достигла критического уровня, не помещаясь внутри.

«Мы людей не успеваем лечить, а вы к наркоманке зовете!»

Тетка не плакала, только сжимала до боли Аббину руку.

Страшно шевеля розовыми губами, врачиха всё же вызвала по рации реанимацию.

«У нас клиническая».

«Зачем вы так? – невпопад спросила Абба. – Клятву Гиппократа, наверное, давали».

«И что?» – дерзко переспросила врачиха, подбоченившись и заняв оборонительную позу – как торговка на рынке.

Абба снова стояла одна у подъезда, ждала теперь уже реанимационную бригаду – рядом гуляла женщина с ребенком и собачкой. У ребенка и у собачки были совершенно одинаковые вязаные шапочки с помпоном – такие носили в пору Аббиной юности.

Реанимация приехала быстро, но Абба знала, что даже такое быстро – уже поздно. Наташа умерла, так и не вернувшись из своего вымышленного мира.

Огромный реаниматолог вышел из комнаты, где на полу лежала Наташа, и развел руками – тоже огромными, как весла.

– Она умерла. Шансов никаких не было, но бригада старалась. Они молодцы.

Врачиха с розовыми губами прошла мимо, не оглянувшись. Абба зачем-то отметила, что помада ее выглядит такой же свежей и блестящей, как полчаса назад, когда Наташа была еще жива.

Раньше эти дни были просто датами в календаре, обычными днями. 5 мая. 17 ноября. А потом они выпали в виде шаров с ответами – как в черной лотерее с днями смерти. Где-то лежит и мой шар, думала Абба. Где-то уже описан верный способ превращения обыкновенной календарной даты в самый страшный день года, которого они с теткой, тем не менее, ждут. Ожидают – как дня рождения, назначенного свидания, отправной точ-

ки, после которой что-то обязательно изменится или, в крайнем случае, пойдет не так, как в прошлый раз.

– ...Ты знаешь что, ты уберись сегодня у мальчика по соседству, – сказала тетка, и Абба сразу поняла, о чём, точнее, о ком она. Могила мальчика – ну, если выразиться точнее, юноши – справа от Наташиной. У него, в отличие от наших, был портрет, выгравированный на камне – когда идет дождь или снег, эти портреты покрываются страшными черными пятнами. Тетка именно поэтому не захотела украшать Наташин памятник овалом, где улыбалась бы смутно похожая на нее девушка. Четкие скулы, матовая кожа. Нежная девочка, Бодлер, косы, пахнущие свежим хлебом, – всё лежит теперь, придавленное могильной плитой, а они с теткой ползают на карачках, выкладывая цветы под строго определенным углом. Так – чтобы они были под углом – хотелось тетке.

Абба взяла пластиковую бутылку с водой, тряпку и начала уборку соседского памятника. Мальчик – точнее, юноша – тоже умер молодым, в девятнадцать, поэтому они ему особенно сочувствовали и время от времени протирали камень с выцветшими буквами. А.Д.Болотов. Алексей? Александр? Андрей? В русском языке так много мужских имен на букву А. Абба перебирала их в уме, как бусины на нитке, – чтобы не сбиться на самые тяжелые мысли.

Мысли о маминой смерти.

Но вот и они, пришли, открывай! Бросай свои бусы из Алексея, Александра, Артема, Андрея! Да, прошло много лет, и самое страшное лежит в отдельном, специально устроенном месте памяти, в которое Абба заглядывает очень редко. Она отлично знает, как туда попасть, но всякий раз старается пройти мимо, хотя демоны и химеры, обитающие в этом помещении, иногда успевают втащить ее внутрь.

Абба десятый раз подряд протерла заглавную букву А. Антон? Аркадий? Арсений?

Милая мама, ты не знаешь, и не можешь знать, как мне тяжело без тебя. Как я заново, каждый день вспоминаю о том, что тебя уже нет, и ты не уехала никуда, чтобы вернуться, – нет, ты ушла навсегда, быстро, в один час. Некоторым счастливым женщинам выдают сверху разрешение на легкие роды. А самым лучшим людям – право на быструю смерть.

– Я бы тоже хотела так, – сказала на маминых похоронах ее близкая подруга. И это не прозвучало грубо. Правда, подругу тоже подслушали – и она умерла в таких мучениях, после которых и ад, наверное, понравится. У нее был рак кожи, который съел ей пол-лица. Глаза, губы, нос – ничем не побрезговал, и в последние дни старуха не могла говорить, но только пищала.

Аббина мама не была старухой, и она очень хотела жить. Она любила жизнь и никогда не жаловалась.

Сейчас, в свои ровно тридцать пять, Абба могла с точностью сказать – таких людей в мире очень мало. Большая часть жалуется на всех и вся, и редко кто радуется каждому новому дню, как это умела делать мама Аббы. Радовалась между делом, выполняя всё, что должна по трудовому кодексу русских женщин, – вела дом, воспитывала ребенка, работала, дружила и помогала всем, кто был рядом.

Она умерла вечером среды, после того как приготовила ужин для Аббы, прочла в газете статью своего любимого Крылеева, пообещала тетке забрать на выходные Наташу. Она просто легла на диван и умерла – как умирают героини в фильмах и книгах. Абба не поняла, что случилось с мамой. Она думала, мама спит.

И это было еще не самое страшное.

Самое страшное приходит потом – выжидает нужного момента и является навсегда. Не смерть как факт. Не все эти жуткие хлопоты, не разговоры с похоронным агентом – черным и вкрадчивым, как осторожный голодный ворон, не поиски места на кладбище и обсуждения поминального обеда. Даже родной человек в гробу – мама, но не мама, – даже стукнувшая крышка гроба и слезы, которые всё никак не заканчиваются, – это не самое страшное. И то, что Абба положила маме в гроб иконку – хотя все говорили, что нельзя, она сделала это, а потом думала, вдруг из-за этого ей будет ТАМ хуже – не Аббе, маме.

Самое страшное – после, спустя полгода или больше, найти в почтовом ящике газету с новой статьей ее любимого Крылеева. Услышать голос ее старинной подруги, после долгого отсутствия заявившейся в город и требующей позвать к телефону Светлану. Обнаружить на дне ящика – из тех, в которые не заглядывают годами! – стопку писем, которые мама писала маленькой Аббе в пионерский лагерь. Там, в письмах, выцветших, на желтой бумаге, всё было по-прежнему – мама волновалась за свою девочку, рассказывала ей о том, как они обязательно поедут в следующем году к морю, только надо немного потерпеть, вытерпеть и дотерпеть. У тетки в это самое время родилась Наташа, и мама помогала с малышкой – больше помогать было некому. Мужчины в этой женской семье не задерживались – и Абба никогда не знала своего отца и не понимала, зачем он был бы ей нужен. Смутной, расплывчатой, как знойный день, детской памятью – где всё преувеличено и солнечно – она помнила мужчину в светло-каракулевой шапочке, воротнике и такой же точно, будто бы каракулевой бородке. И еще одно, более давнее и более неприятное воспоминание – тот же самый каракуль лежит в ванне, и волосы у него на груди похожи на водоросли, колеблющиеся в воде. Вот, кажется, к нему слово «папа» пристегивалось легче, чем к другим, но даже взрослая Абба этим обстоятельством почти не интересовалась. Мама так хо-

тела. А всё, что связано с мамой, помнила четко и объемно.

Накануне дня рождения мама ворчала: «Одиннадцать лет уже!» Хотя было еще всего лишь десять. На празднике в детском саду хлопала, как в театре, а потом фыркала: «Мирное голубое небо – шесть раз подряд! Далось им это небо!» Мама была взрывная, непоследовательная и чудесная, ее все любили – дети, взрослые, коллеги, родня, соседи, все! Абба помнила, как в школе девочки окружали маму со всех сторон, а одна из них, Зоя Зайцева, которую мальчишки дразнили Зояной, даже тайком нюхала мамино плечо, запоминая запах, и взрослую Аббу это возмущало точно так же сильно, как маленькую. Согласитесь, наглость! Да, у Зояны была совсем другая мама – крикливая, с волосяной дулей на затылке и привычкой обливать губы – как будто только что съела мороженое, но это всё равно не повод примерять себе чужую мать.

Интересно, думала Абба, заканчивая приборку по соседству, – сейчас я уже в том возрасте, в каком была тогда мама. Ей тоже было тридцать пять, когда Зояна и другие жаркие девочки со всех сторон наваливались на нее в школе. Словно бы каждая хотела забрать себе частичку на память.

Вот так и проходит молодость, продолжала думать Абба. Однажды ты понимаешь, что скоро сравняешься в возрасте с мамой. Или придешь

в магазин – а там продавцами работают дети. С пластмассовой кожей, гладкими лбами, загнутыми кверху уголками губ – как недорисованные улыбки. У детей на груди таблички с именами – Анастасия Сергеевна, Дарья Александровна, Елизавета Максимовна.

А выглядят – как дети. И лучше в одно зеркало с ними не смотреться.

Абба отступила на шаг назад, чтобы полюбоваться работой – как художник перед удачным холстом. Юноша с фотографии смотрел на нее с благодарностью и смущением. Ей нравился этот мальчик, в самом деле – вот он мог бы ей понравиться! Если бы они оба были живы.

Абба быстро глянула на тетку и вытащила из букета лохматую, как болонка, хризантему. Тетка ничего не заметила, цветок лег на могилу мальчика так, словно всегда мечтал здесь лежать – усталым облачком.

В мире мертвых Аббе всегда было легче и понятнее, чем в мире живых. У мертвых вполне понятные требования и ожидания – их надо помнить, следить за их могилами и молиться за упокой души. Обидеть, предать, сделать больно умершие не умели, а с годами память о них становилась всё лучше.

О предательстве Абба знала не из книжек – ей сделали однажды так больно, что след от этой боли остался с ней навсегда – как старый шрам, ною-

щий при перепадах погоды. В конце пятого курса, когда все девушки вдруг – словно героини в телесериале, ближе к финалу – начали спешно устраивать свои судьбы, Абба влюбилась, и получилось это у нее очень неудачно. Мужчина оказался жадным до всего нового, он был счастлив с Аббой ровно две недели, после чего легко освободился от нее – так отдают бедным родственникам разорвавшиеся шмотки.

И на этой части жизни Аббы отныне тоже стоял крест. Тетка, впрочем, пыталась устроить ее судьбу – еще два года назад знакомила ее с холостяками и мамиными сынками, как на подбор убогими, но с претензиями. Мания величия как продолжение комплекса неполноценности.

Аббу вполне устраивало ее нынешнее состояние – она даже считала себя счастливой. А как же? Наше счастье, как и жизнь, есть сон.

Тетка наконец распрямилась и тут же, ойкнув, схватилась за поясницу. Единственный родной человек на земле – Абба так боялась потерять ее, что временами мечтала о том дне, когда это случится – чтобы исчез отупляющий страх.

– Давай цветы, – сказала тетка, и Абба развернула бумажный сверток с розами.

Сейчас будет самая тяжелая часть сценария, когда тетка начнет плакать над Наташей и просить Аббу оставить ее с дочкой наедине. Обычно Абба

уходила к дорожке и не сводила глаз с могилы, переступая с ноги на ногу и ощущая собственную ненужность, как изъян или болезнь.

Но в этот день, в это пятое мая, всё должно было пройти по-другому – изменения, скорее всего, начались раньше, просто ни Абба, ни тетка этого не заметили, обманутые привычными действиями. Уютная рутина – она и убивает, и дает жизнь.

Абба ждала тетку, когда к ней с двух разных сторон подошли старая собака и старая женщина. Они были очень старые и очень уставшие, но смирившиеся с тем, что им придется доживать свой век. Да, и они, без всяких сомнений, хорошо понимали друг друга. Собака – боксер, с крутыми передними лапами, похожими на скобки, и всё еще мощной грудью, но во взгляде у нее уже была та самая тоска, которая не выводится никакими сахарными косточками и солнечной погодой. Женщина в цветастом костюме, какие носили в перестроечные времена, с умными, темными, потухшими глазами.

– Здравствуйте, – сказала она. Почему-то с просительной интонацией: – Здравствуйте?

Как будто не могла для себя решить, здравствовать Аббе или нет.

Собака глухо тьякнула, это тоже было приветствие. Абба вдруг страшно захотела опустить руку на мягкий бархатистый загривок, погладить умную складчатую морду...

Но она, конечно, этого не сделала – Абба вообще крайне редко делала то, чего ей по-настоящему хотелось. Вместо этого она спрятала руки в карманы плаща и кивнула:

– Здрасьте.

– Я мама Адама, – представилась женщина. – А это – Лайза.

Собака, услышав свое имя, закрутилась на месте, как молодая, – обрубочек хвоста весело махал из стороны в сторону.

– Адам, – продолжала хозяйка Лайзы, – мой сын. Он там, по соседству с вашими. И я очень благодарна вам, что вы у него прибираетесь, – знаете, я живу далеко, я уехала сразу, как это случилось, и приезжаю очень редко. Мне писала знакомая, что у Адама всегда прибрано, и сегодня я пришла сама, вот смотрите, у меня и тряпки с собой, и вода, а вы уже всё сделали, и даже цветок...

Мама Адама открыла сумку настезь – чтобы доказать Аббе, что она тоже хотела навести порядок на могиле сына. В сумке лежал резиновый мячик, который тут же подтолкнула носом Лайза и – опять как молодая! – побежала за ним по дорожке.

– Лайза! Нельзя! – крикнула хозяйка. – Извините. Заигрывается иногда. Я взяла ее после смерти Адама.

Абба наконец поняла, что ей тоже надо сказать хотя бы слово в ответ.

– Мне не трудно. Совсем не трудно убраться у вашего сына. Мне нравится его лицо, и я думала сегодня, как его зовут. Но я не отгадала бы Адама.

Женщина улыбнулась – это было похоже на то, как солнечный свет пробивается на секунду сквозь листву густых кладбищенских деревьев, а потом тут же испуганно прячется.

– Все были против, а я настояла на своем, – гордо сказала она. – Не хотела, чтобы он был Пашей, или Шуриком, или каким-нибудь Сережей. Он был особенный, знаете? Первый человек на Земле. Для меня – первый. А для всех остальных – миллион какой-то, и никому не было до него дела, Адам он или нет. Его забрали в армию, а потом в Чечню. Мне не разрешили посмотреть, что осталось, – я не видела его в гробу.

– Может, и лучше... – сказала Абба.

Женщина наклонила голову, и слеза поползла по ее переносице.

Лайза стояла с мячиком в зубах и жалобно смотрела на хозяйку.

– Знаете, – сказала женщина, – когда я увидела вас и вашу маму...

«Это тетка», – перебила бы в обычном случае Абба, но сейчас она сглотнула оба слова.

...когда я вас увидела, я подумала, что вы могли в школе тайно встречаться с моим Адамом. Ему было бы сейчас столько же, сколько вам. Вам тридцать?

– Тридцать пять.

Женщина огорчилась.

– Все равно, девочки бывают разные. И мальчики тоже. Я подумала – они тайно встречались с Адамом и у них был красивый роман, а потом он ушел в армию, а она родила ребеночка. И сейчас он взрослый, очень красивый мальчик. Я хотела пойти за вами следом, чтобы увидеть своего внука, а потом мне стало стыдно за эту историю. И я просто подошла сказать вам спасибо за уборку. И за цветок.

– Извините, – сказала Абба, – почему вам стыдно? Это прекрасная история. Может быть, самая лучшая из всех, какие были в моей жизни, но вот именно ее и не случилось. Я очень хотела бы стать мамой вашего внука, но мы с Адамом встретились слишком поздно.

– Да, – сказала женщина. – Слишком поздно. Пойдем, Лайза! Смотрите, ваша мама возвращается. Как жаль вашу сестренку – родная сестренка?

– Да, – сказала Абба. – Родная. До свидания, и не волнуйтесь – я буду смотреть за Адамом.

Тетка грузно ступила на дорожку, пропуская маму Адама к могиле.

– Это что, бульдог? – спросила она у Аббы.

– Боксер, – ответила Абба.

Они шли к автобусной остановке, пустые от выпланных слез – новые только начинали копиться на самом дне души. Абба смотрела прямо перед

Анна Матвеева

собой и слышала, как поет у нее внутри крошечная Анни-Фрид Сюнни Люнгстад: *“It’s funny but I had No sense of living without aim The day before you came...”*

Пела она очень красиво, но тихо. Никто, кроме Аббы, ее не слышал.

В день, когда родился Абеляр

Курить хотелось так, что чесались легкие. Иза покинула самолет одной из последних – в хвосте нетерпеливой человеческой змеи. Уставшие стюардессы с трудом удерживали на лицах прощальные улыбки.

Телефон она включила еще в салоне, несмотря на грозные предупреждения на трех языках. И поймала первую смску, от которой сразу потеплело в животе. И улыбка появилась – не то что у стюардесс, настоящая!

«С приземлением, родная!» И поцелуй-смайлик.

День, когда родился Рембрандт и погиб Джанни Версаче, заканчивался. Иза глянула на табло в аэропорту, переставила время на своих ручных часиках. Его подарок. Ремешок уже начал перетираться, надо будет поменять.

Все шло быстро – паспортный контроль, багаж, таможня. Усатый грек-пограничник пробурчал какое-то приветствие. Иза не слушала – набирала ответные смски с двух телефонов. Она думала только о нем – как всегда.

Воздух в городе был теплый и свежий, как его дыхание. Он был повсюду с Изой – где бы она ни была, куда бы ни ездила. Вообще, Иза старалась реже покидать город, но, если отвертеться от поездки не удавалось, брала с собой нетбук и телефоны, чтобы быть на связи. Он не переживет, если она не ответит. И сама она, конечно, очень хотела получать от него письма – такие нежные, умные, хоть прямо сейчас начинай показывать чужим нукам (своих ничто не предвещало).

Ее друзья – Сеня Андер и Томочка – долго не верили, что такое бывает. Как в кино! Другьям везло меньше – Томочка встречалась с женатым, а Сеня недавно расстался с подругой – они прожили вместе четыре года. Андер был перециклен на хип-хопе, открыл данс-школу в этом году и теперь изображал, что не нужны ему никакие чувства, кроме тех, которые он и его ученики выражают в танце. Томочка работала вместе с Изой на одном портале – собирала городские новости, которые давала потом в обработку журналистам. А Иза каждый день составляла для портала новую табличку – кто родился и умер именно сегодня, много или не очень лет назад. И что вообще в этот день произошло для человечества знаменательного. У нее собрался приличный запас имен и дат, но Иза старалась не повторяться из года в год. Находила новые даты, людей, о которых еще не вспоминали, и поэтому табличка у нее была – загляденье.

Иза встретила свою любовь в день, когда родился Абеляр.

Еще утром она была обычной девушкой с тремя неудачными романами в архиве и рассуждала с Томочкой в курилке о любви.

Частично воцерковленная Томочка хлопала наклеенными ресницами, пока Иза объясняла ей, что только несчастная любовь может считаться настоящей.

– Мы ведь не знаем, как бы сложилась жизнь у несчастных влюбленных, если бы им вдруг дали испытание счастьем. Тристан с Изольдой. Лейла и Меджнун. Абеляр и Элоиза... Думаешь, они любили бы друг друга всю жизнь и не развелись бы уже через год? Тристан изменял бы Изольде. Меджнун поколачивал бы Лейлу. Абеляр просто замолчал бы однажды и перестал бы разговаривать с Элоизой. Не знаю я ничего про долгие и счастливые истории любви.

– Мой дедушка, – вякнула Томочка, – когда бабушка сильно заболела, ухаживал за ней сам и никого не подпускал, даже нас, не то что медсестру. Это тоже – любовь!

Иза пожала плечами. Любовь и таблетки? Любовь и судно?

И уже вечером встретила его. В случайной компании случайных людей – неслучайный, единственный в мире мужчина.

Первое, что он сказал ей:

– У нас с вами глаза одного цвета.

Иза пригляделась – ну да, похожи. Темные, зеленые, есть такой камень – лиственит.

Про лиственит он знал. Он вообще знал всё, что нужно, – и сверх того. Иза первое время боялась отворачиваться или закрывать глаза – вдруг исчезнет, и с ним – всё нужное и важное. И сверх того.

Томочка много раз просила Изу познакомить их – чтобы просто увидеть своими глазами это чудо и уверовать таким образом в любовь (не верила в нее Томочка, хотя батюшка в церкви много говорил о любви – а сам, по слухам, жил со своей попадъей плохо, без души. Попадья даже жаловалась на него в кулуарах. По слухам). Иза стояла насмерть – пока не может, потом обязательно познакомит. Зато она показывала Томочке все его письма и смс – такие на Томочкиной памяти никто никому в жизни не писал, только в романах. Он восхищался Изой и так разнообразно писал о том, как ее любит, – с ума сойти можно! Томочка плакала от умиления, реснички мило склеивались, как ласточкин хвост.

«Моя ласточка», – писал Изе любимый. А потом еще на французском – *ma hirondelle*. О-балдеть, думала Томочка. И тут же сама себя поправляла – аллилуйя!

Сеня Андер тоже интересовался знакомством – они с Изой с юности дружили и всех своих зазноб первым делом тащили «на сверку». Андер вот, на-

пример, честно представил Изе свою Юлю, и потом именно Иза вытирала ему сопли со слезами, когда Юля предала и хип-хоп, и самого Андера, уехала в Москву. На память она оставила Сене щенка-боксера по кличке Бакст. С претензией была девушка. И с длинными ногами.

– Ноги у нее хоть и длинные, зато толстые, особенно в коленках, – утешала друга Иза.

Андер плакал, и Бакст кривил морду, как будто тоже пытался рыдать по-человечески. Теперь оба перестрадали, и Андер даже добавил Юлю в друзья на фейсбуке – правда, она там мало что интересного про себя пишет, да еще и с орфографическими ошибками. Вот и все претензии!

В отель, где Изе придется изнывать четырнадцать дней, везли на автобусе. Дорога была – горный серпантин, и водителю звонили каждые пятнадцать минут – на самых крутых поворотах. Он охотно и очень подробно отвечал. По-гречески Иза знала несколько слов, но поняла, что на проводе у водителя любимая женщина.

– Элла! – говорил водитель. Наверное, это значит «алло». Иза вздрагивала немножко от этих «элла» – ее звала так мама, давным-давно.

– Мне за год столько не звонят, сколько ему за час! – злобно прошептала русская тетка на соседнем сиденье.

Иза снисходительно улыбнулась. Она-то знала все про звонки от любимых. Схватишь трубку

даже в кресле у стоматолога, не то что на виражах.

Перекошенная луна за окном автобуса походила на деревенскую девку, только что крякнувшую самогона. Публику в салоне растрясло, бледный мальчик лет двенадцати сидел, уткнувшись лицом в пластиковый пакет с надписью *"I love you"*.

Изу хотели было спровадить в номер, но она распаковала нетбук прямо в холле и вышла в сеть. Сигарета дрожала в пальцах – пепел рос, как в старом клипе Питера Гэбриэла, на которого смахивал ее любимый. В ящике лежала аппетитная стопка непрочитанных писем – все с одного и того же, главного в жизни адреса. Иза благодарно вздохнула и открыла первое.

«Здравствуй, любимая! ...»

День закончился, и тут же родился новый – вместе с Миклухо-Маклаем. В этот же день, в разные годы, убили Романовых в Екатеринбурге и казнили в далеком Париже Шарлотту Корде.

Луна пополнела, расправилась – девка уже не выглядела пьяной, в ней даже проявилась некая грустная задумчивость. Иза с трудом втягивалась в курортную жизнь – зря она послушалась директора, который прямо-таки выгнал ее в отпуск.

– Не могу больше смотреть на твою усталую физиономию. Считай, что делаю подарок.

Директор был у них такой, что не забалуешь. Иза покорно собрала вещи, написала любимому, что уезжает. В ответ получила рыдающий смайлик.

Повидаться перед отъездом они не смогли – его одолела мигрень. Раньше барышни болели мигренями, а теперь – мужчины, даже влюбленные.

«Глажу тебя по голове, – написала ему Иза из аэропорта. – Пусть не болит».

Томочка попросила привезти ей ракушку. Она была филолог по образованию и специально коверкала слова – чтобы люди не подумали, что она гордится знаниями. Гордынька – нехороший грех. Сеня Андер проводил в день отъезда баттл по хип-хопу, но всё-таки отвез Изу в аэропорт ранним утром. Они покурили на прощанье, и Андер побежал к машине, чтобы не платить лишнего за парковку.

И вот теперь у них там, в городе, шла неизвестная Изе жизнь, а Иза лежала на шезлонге с облепленными песком ногами и слушала, как тихо стонет Эгейское море. Где-то на дне его сгнили кости несчастного торопливого царя, не дождавшегося сына. Иза вспомнила концерт джазового пианиста, на который ее водила Томочка. Старый, красивый музыкант изобретательно терзал рояль и вдруг одними губами – но Иза услышала – спросил барабанщика: «Куда ты торопишься?!»

Барабанщик и правда гнал куда-то. Как Иза – в самом начале любви.

Любимый учил ее не спешить – ждать радости, удовольствий, подарков. Писем, в конце концов. Сейчас она тоже пыталась терпеливо ждать, пока отдых окончится, а он был просто бесконечный. В одиночку слушать море было как-то бессмысленно. Но директор сказал – отдыхай, и она отдыхала.

Обедала в таверне, под пальмой. Ела мелких рыбок, которых местные жуют вместе с головами – Иза так не могла. Головы и хвосты оставались в тарелке – кошкина радость. Хорошо, что он сегодня написал – и вечером напишет, Иза каждые два часа ходила в Интернет, как на рыбалку, и ловила свежие, еще горячие от его пальцев письма. Послания от Томочки и Андера она проглядывала наспех – там ничего интересного, сплошные танцы да молитвы – а его строчки обсасывала до последней запятой. Даже его ошибки – неуклюжие, хотя он утверждал, что специально для переписки купил себе словарь, – нравились Изе, она умилялась каждой. «Иметь ввиду». «Я думал по другому».

Сегодня родились Теккерей и Нельсон Мандела, а умерли Джейн Остин и художник-убийца Караваджо. Иза вспомнила, как Андер однажды усомнился в ее датах – откуда она узнала, например, что Платон родился 21 мая? Что это за отсебятство? Если не отсебятство?

Иза объясняла, что в некоторых датах есть сомнения – и тогда она в скобочках указывает «при-

близит.». Но вообще источники у нее надежные – книжные. И почему бы Платону не родиться 21 мая, вместе с академиком Сахаровым? Отличная компания!

– Вы отдыхать приехали или работать? – рядом с Изой, нахмуренно перечитывавшей черновики писем к любимому, присел здоровенный грек. Шезлонг застонал под ним не хуже моря. На шее у грека висела золотая веревка – похожая на те, что носили братки в гремучих девяностых. О незабвенные красные шеи и двубортные пиджаки!

По-русски говорил прилично.

– Я и работаю, и отдыхаю. Всё успеваю, – вежливо, но холодно ответила Иза. Заводить знакомство с местными ей было совсем ни к чему. И мужчина ее интересовал единственный.

Он, как почувствовал, прислал сообщение – Иза так заторопилась взять телефон, что выронила его. Грек поднял, подал.

– Приходите вечером к бассейну!

Пока Иза сочиняла отказ, пришла официантка со стаканом фраппе на подносе. А Иза уже и забыла про этот фраппе.

– Не верьте ему ни о чём! – сказала вдруг официантка, неприязненно зыркнув глазами на грека. Она была из Белоруссии, такая славная девушка Света.

Грек тут же испарился – как и не было его. Искал, видно, себе на пропитание и наследил уже. Ве-

ревки золотые надо оплачивать, и мышцы бесплатно не покачаешь.

– Света, вы давно в Греции? – спросила Иза.

– Пять лет. Привыкла уже. А вы почему всё время с компьютером? Плавайте, загорайте!

– Вы замужем? – переключила ее Иза. Что всем дался этот компьютер.

– Я расстался с другом месяц назад, – грустно сказала официантка. – Он не умеет подойти к женщине.

Отель находился в бухте, в нескольких километрах от Уранополя – «небесного города», как было сказано в путеводителе. Путеводитель тоже дал Изе директор. В небесный город ходил автобус, но Иза решила пройтись пешком, хотя жара стояла жирная и плотная, как печеночный паштет.

А ведь было еще раннее утро – в небе висела вымотанная бессонной ночью луна, похожая на старуху.

Иза шла по обочине, отшатываясь от автомобилей – впрочем, их было мало. Зато было много придорожных маленьких иконостасов – внутри каждой иконы, свечи, спички. Иза вспомнила Томочку, попыталась зажечь свечу, но ветер от проезжавшей машины задул ее, и пепел полетел в грустный лик на иконе.

– Ну, прости меня, прости! – закричала Иза. В ответ ей включились цикады – завели душный, оглушительный хор.

Сегодня родились писатель Дюма и художник Муха, а умерли Саша Гитри и Мэтью Уэбб.

Иза переходила дорогу – шла то по левой стороне, то по правой. Курила. Проверяла телефоны.

Он почему-то молчал.

Слева, под скалой, был выстроен просторный курятник – за решеткой ходили пышные, красивые, будто специально причесанные курицы. Справа жаловалось море.

Башню Иза увидела задолго до знака «Уранополь» – она выдавалась в море вместе с берегом. Решила идти к башне – по единственной главной улице. В городе пахло ладаном и медом. По улицам ходили полуголые туристки и монахи при полном облачении. Ходили они, к счастью, не вместе и не косились друг на друга подозрительно. Казалось, что два этих сословия передвигаются в разных пространственных потоках.

Иза села за столиком в ближайшем кафе, с силой впечатала пальцы в телефон. Ничего. Ни одного письма. Ни завалящей смс.

Вежливый мальчик-официант протянул меню. Иза наугад ткнула в какой-то салат. И фраппе, конечно. Они все здесь пьют фраппе. Два священника за соседним столом размешивали соломинками в стаканах ледяной кофе. Один улыбался при этом, глядя в айфон. Афон.

«Афон совсем рядом, – вспомнила Иза. – Место, где нет женщин. Какая разница, что теперь де-

лать. Можно плавать в море, пока не утонешь. Можно подглядывать за монастырями с палубы прогулочного корабля».

Она купила билет в двухчасовой круиз и, пока посадки не было, поднялась на башню. На стенах висели старинные карты, а под крышей вились ласточки – хвосты у них были как раскрытые маникюрные ножницы. *Ma hirondelle*, вспомнила Иза.

Какая теперь разница?

На пристани продавали с мопеда фрукты – черные, деревянные на вид сливы и размякшие, как залюбленная женщина, абрикосы. Иза купила в киоске пачку сигарет. Поднялась на борт одной из первых.

День, когда родился Фейербах, а умерли Робеспьер, Бах и Вивальди, Томочка собиралась посвятить домашнему хозяйству, и ничему, кроме этого. Она будет складывать не оправдавшие себя наряды в пакеты для бедных и безжалостно рвать старые черновики, в том числе – несостоявшейся диссертации. С утра она честно собиралась поехать в храм на службу, но так и не смогла оторвать голову от подушки. Ничего, завтра тоже день. Томочка всё успеет, на то она и Томочка.

В выходные звонить домой любимому было нельзя. То есть ему вообще нельзя было звонить домой, но в выходные – особенно. Томочка с силой дернула висевшее на плечиках платье за подол.

Черно-белое шелковое платье. Он гладил ей ноги сквозь этот шелк.

«Тебе нравится мое платье?» – спросила тогда Томочка, а он хриплым голосом сказал: «Нет, в нем ничего не видно».

Томочка расстелила платье на полу, как ковер. Легла на него и заплакала.

И тут ей позвонили. Совсем не тот человек, которого она ждала.

В день, когда родились Генри Форд и Генри Мур, а умерли Мария-Терезия Австрийская и Отто фон Бисмарк, Сеня Андер встал ни свет ни заря. Его разбудил Бакст – жалобная морда торчала у изголовья, как живой плакат «Погуляйте с собакой!».

– Ну и морда ты, Бакст, – с любовью сказал Сеня и резво вскочил с постели.

В последнее время ему так нравилось жить, что он даже захотел бросить курить.

Сене Андеру было жаль ложиться спать – чтобы не тратить зря прекрасное время жизни.

– Мне кажется, – рассказывал он Изе по дороге в аэропорт, недели две назад, – что я долго шел по пыльной трассе, а потом свернул с нее в сторону по какой-то неведомой тропинке. И там, в конце тропинки, точно будет что-то прекрасное! А на эту трассу я возвращаться не хочу. Там пыль... и Юля.

Сонные собачники собирались на пустыре за Сениным домом. Бакст с трудом вытерпел, пока хозяин отцепит поводок, – побежал к своей подружке, боксерше Лизе. Лиза третий день ходила с пищашей игрушкой в зубах – черным резиновым пауком. Выглядело это так, словно она кого-то слопала, но еще не до конца проглотила.

– Сеня! – услышал вдруг Андер и обернулся. И увидел человека, которого не должен был здесь увидеть, – а рядом еще одного, незнакомого.

Иза не видела монастырей Афона, она стояла на корме и смотрела на чаек. Белые, толстые и смелые, как влюбленные женщины, птицы преследовали теплоход и подлетали так близко, что страшно становилось. Рядом на лавке полулежала девушка – закинула руки за голову, явив миру подмышки с отросшими пеньками волос. Как будто бедняжку равномерно присыпали там черным перцем.

Телефоны молчали. Рано или поздно, они всегда замолкают – пусть и по разным причинам.

Круиз окончился где начался – у башни, туристы спускались по сходням и голодными тучами оседали в прибрежных ресторанах небесного города.

Иза пошла вверх по узкой улице, ее слегка шатало – то ли от качки, то ли от голода. Скорее всего, от страха.

Она не знала, как жить без его писем, без его любви, без него самого. Делать вид, что счастлива? Усыновить мальчика из детдома? Насмерть уморить себя работой?

Может быть, с ним что-то случилось?

Он никогда не пропадал так надолго.

– Поверить не могу! – сказал Сеня Андер. – Всё это время Иза сама писала себе письма? И отправляла сообщения? Но зачем?

Незнакомец – красивый, как отметила Томочка, мужчина с только что, буквально на днях, начавшими сесть висками – вздохнул и потерял те самые виски, будто пытался стереть седину:

– Я думаю, это моя вина. И ее беда. Она, вы только не подумайте, что я хвастаюсь, сошла с ума от любви ко мне.

Усмехнулся он при этом всё-таки самодовольно – это увидели и Андер, и Томочка.

– Мы встречались, но недолго и нечасто. Всё, что я мог ей предложить, Изу не устраивало – ей было слишком мало. Она думала, я жалею для нее времени и сил, но связывать с ней жизнь... я не смог бы. Она как водоворот. Забирала всё, что видит.

– А вы правда похожи на молодого Питера Гэбриэла, – некстати сказала Томочка. – Но вначале то вы ей писали? И звали ласточкой? И подарили часы?

Мужчина грустно посмотрел на Томочку:

– Конечно, писал. А потом она уже писала себе сама и отправляла копии этих писем мне. И я не могу больше это терпеть, тем более что у меня появились серьезные отношения. Приходится всё объяснять.

– Можно было просто сменить телефон и адрес, – сказал Сеня Андер.

– Если честно, я тоже был в какой-то степени зависим от этих писем и от ее любви, от самой Элоизы. Я и боялся этих писем, и хотел их. А потом один мой друг-психиатр объяснил, что девушка просто сошла с ума. Она правда верит в то, что это я ей пишу, – но если будет просветление и она поймет, что на самом деле это не так... Я бы хотел, чтобы рядом с ней в такой момент были друзья. Поэтому и нашел вас.

– Иза сейчас в Греции. Путешествует, – сообщила Томочка. – А вы знаете что, вы напишите ей от себя, сами!

– Не буду, – сказал мужчина. – Слишком опасно. И потом, она молчит уже двенадцать часов. Такого прежде не было – просто замолчала, и всё.

Сеня Андер с Бакстом проводили домой Томочку. Сеня шел и думал о том, что Томочка – красивая. И что это черно-белое платье ей так идет. Томочка думала только про Изу – позвонила, но ответил ей осторожный мужской голос:

– Элла?

Люди рождаются и умирают каждый день. Известные и неизвестные, прославленные и никому не нужные, любимые и брошенные – для каждого припасена своя дата, время и год. Элоиза родилась в один день с Эдгаром По и Дженис Джоплин. В день, когда родился Абельяр, она встретила свою любовь. В день, когда умерли Лойола и Ференц Лист, она ее потеряла – в море, в автобусе, на теплоходе, по пути из пункта «Всё» в пункт «Ничего».

Иза стояла в главном храме Уранополя – он был как кустарный сундук, оклеенный изнутри открытками. У иконы Божией Матери стекло покрыто мутными губными отпечатками. Внизу висели «благодарности» – изображения рук, ног, голов, ушей, всего, что успела исцелить эта икона. Вышел священник в серой рясе, в руке его звенели ключи. Он ждал, пока туристка уйдет, был час обеда. Иза растерялась, хотела спросить о чём-то, но вместо этого вышла прочь, рухнула с порога в липкую жару.

Она оставила оба телефона и нетбук у входа в башню, под абрикосовым деревцем. Абрикосы на ветвях были слегка порозовевшие, смущенные. Нерешительные.

– Элла! – кажется, кто-то кричал ей вслед, но Иза шла так быстро, как будто скорость могла что-то изменить. Уютные старушки в черных платьях расступались, когда она выходила из небесного города.

Стало еще жарче прежнего, солнце стреляло в упор. Жгучие, раскаленные лучи льнули к голым рукам и коленям.

Еще до курятника налево убегала тропинка к морю – такая, что уводит с основной дороги, на которую не хочется возвращаться. Иза шагала по этой тропинке, считая вслух шаги. Бросила сумку в колючих кустах – цикады взвыли, как грузовик на подъеме. Последней она оставила на берегу пачку сигарет – хотя курить ей снова хотелось так, что чесались легкие.

Одна на пляже, одна в мире, Иза уходила в море, и одежда, обленившая тело, мешала двигаться вперед. Шелковые шорты и майка без рукавов превратились в оковы, но Иза была сильной и шла вперед и вперед, пока вода не скрыла ее с головой.

Чистая эгейская вода, уже принявшая на себя много тайн и несчастий слабых детей человеческих, что рождаются и умирают в отведенный день.

В лесу

Посвящается Анне Б.

Алуся пыталась выехать из города уже битый час. Битый, убитый, бесценный час. Битый убитого везет. Можно было столько всего втиснуть в эти шестьдесят минут, но Алуся вместе с другими водителями стояла в очереди к дивной загородной жизни. Как только что-то хорошее или бесплатное – так сразу очередь. В этом смысле ничего не изменилось с советских времен, по которым так страстно тоскуют молодые люди, не ведавшие вкуса алюминиевой вилки в пельменной (а у нее, доподлинно, был вкус – куда мощнее и богаче, нежели у тех самых пельменей), не помнившие, как чавкает под ногами бурый снег в демонстрацию 1 Мая, вообще ничего не знавшие о советском времени. Флагман томящихся по нему людей – пятидесятилетний телевизионный юноша, эксперт по вопросам чулок в резинку, Будулаю и Саманте Смит, конечно, помнил

былое и свои о нем думы, но Алуся флагмана не жаловала. Было в телеюноше что-то отталкивающее, прорывалась сквозь эту вихрастую птерпэнскость вполне адюльтная, карьерная старательность, а она похуже нежелания стареть и умирать.

Алуся, впрочем, тоже еще не собиралась стареть и умирать, хотя возраст ее сорокатрехлетний казался ей преклонным. Она, будьте покойны, отлично помнила и вилку, и демонстрацию, и блеск комсомольского значка на лацкане школьного пиджака. И ни капельки не томилась по тому времени.

Как говорит мама Лена, «не по чем там скучать».

Перед машиной Алуси ехал гигантский джип с трогательной наклейкой на заднем стекле. Белый круг, в нем – розовый младенец с бутылочкой во рту и надпись: «В машине – малыш». Джип двигался так неуверенно и дергано, что Алусе пришел в голову другой вариант надписи – «За рулем – малыш». Из-за этого чертова джипа еще и видно ничего не было. Малыш дернулся и встал. Алуся бросила руль и полезла в сумку за сигаретами. На пачке был записан номер телефона контрагента, с которым надо было созвониться сегодня до семи, кровь из носу.

Когда мама Лена впервые нашла у нее в сумочке сигареты, Алусе было восемнадцать лет.

Мама орала на нее так, что у Алуси пошла носом кровь. Но даже с головой, закинутой назад, она сообщила, что совершеннолетняя. Имеет право.

– Конечно, – кричала мама Лена, – имеешь право не слушать мамульку! А кто тебя рожал двадцать три часа, такую красивую, а? Другая родила бы какую-нибудь каракатицу!

Другая шла по пятам мамы Лены всю жизнь, и всё-то она, болезная, делала не так, как надо. Другая не смогла бы устроиться на хлебное место в банк, купить в тяжелую пору две квартиры и дачу. Другая не стала бы сидеть всё детство с девкой – так она звала внучку Илону, имени которой решительно не признавала. Алуся назвала дочку в честь незабвенной пионервожатой, которая любила группу «Форум» и лак для ногтей «бриллиант». С розовым переливом.

Когда восемнадцать лет исполнилось Илоне, выяснилось, что она согласна избегать кого угодно, только не родной мамы. И это, удивительная вещь, Алусю тоже раздражало.

– Конечно, – язвила мама Лена, пригнутая к земле годами, но всё еще полная злой энергии и удивительных идей. – Другая девка носилась бы с парнями по дискотекам, принесла бы нам в подоле, а тебе всё нехорошо!

У Илоны тоже была «другая» – вечная несчастная спутница, обреченная на муки и страдания.

Малыш проехал два метра и снова встал. Алуся выбросила окурок в окно и стала рассматривать себя в зеркале дальнего вида.

Ничего особо интересного она там не увидела. Она и в молодости была не слишком хорошенькой, а теперь и вовсе выглядела не женщиной, но человеком. Странно, что этот человек так нравился Лангепасу. Бедный Лангепас! Наверное, уже добрался до Коротышей, открыл дверь, вдохнул аромат черемухи... Рядом – рябина, вонючая, но всё равно хорошая. Там зеленые морщинистые ладошки подорожников и жирные сочные одуванчики. Птичка, не городская, щебечет. Пищуха, может? Или зеленушка? Гаичка? Лангепас всех птиц знает. А бедная Алуся никак не выедет из проклятого города.

Город ее никогда не отпускал – точно как Илона. В юности Алуся это ценила: падала в объятия городу, как в воду на знакомом пляже. Спинай могла упасть – и город не подводил, держал ее своими домами, дворами, протянутыми руками всех своих памятников...

Лангепасу можно, конечно, позвонить, но Алуся старалась общаться с ним через телефон только в самых крайних случаях. Боялась засветить номер перед Илоной и перед мамой Леной. А еще ей не очень нравился голос Лангепаса – по телефону он звучал всегда встревоженно, заботливо. Будто Алуся не любовница ему, а дочь.

Хватит с нее собственных родственников. И дочь у Лангепаса есть своя, Шашенька. Балованная девица двенадцати лет с грудью третьего размера. Алуся терпеть не может Шашеньку, но вслух, конечно, умиляется и дает советы по воспитанию. Хотя ей ли давать советы? Илона – инфанта инфантильности. При этом вкусы у дочери вполне взрослые, с барственным уклоном. Любит вип-залы в кинотеатрах, вкусные рестораны и модные бесполезные штучки, ради которых Алуся и фигачится на работе так, что оценили бы разве что в концлагере. Арбайт махт фрай. Щас прямо, как сказала бы Алусина подруга Мура.

Мама Лена тратиться на девку не желает – она любит делать эффектные жесты в сторону малознакомых людей и дальних родственников. Спасибо, что квартиру им подарила, двухкомнатную брежневку, тридцать два метра, планировка «расческой», второй этаж. Алуся путем немыслимо сложных обменов выстроила цепочку с участием семи человек из четырех стран мира и объединила потом это жилье с комнатой, которая осталась после размена и развода. Это был один из первых ее успехов, заря риелторской карьеры.

Малыш на джипе наконец прибавил скорости – оказывается, под мостом столкнулись сразу три, как выражалась мама Лена, «транспортных сред-

ства». Мама какое-то время проработала в ГАИ, ушла капитаном и не позволяла смеяться над анекдотами про коллег. Пусть они даже бывшие. Однажды призналась, что работу в милиции выбрала из-за формы – она была ей точно под цвет глаз. И мужчин вокруг много, на выбор! Но долго не выбирала, начала жить с папашкой. Рассказывала, как он глянул на новорожденную Алусю и махнул рукой:

– Девка как девка. Пусть живет.

Сам едва ли не сразу после этого перевелся в Кострому. Это имя Аллу волновало с детства – оно было похоже на вкусное слово «бастурма», а еще оттуда приходили таинственные «элементы», превращавшиеся в отрез ацетатного шелка или польские мягкие туфли с «дырочками». «Элементы» папашка платил аккуратно, но только до той поры, пока дочке не исполнилось десять. После десяти – как отрезало. Ни бастурмы, ни Костромы.

Другая бы, разумеется, подала в суд, но мама Лена, как сказала бы Мура, возвысилась над ситуацией. Пристроилась к хвосту желающих получить финансовое образование, довольно быстро растолкала всех в этом хвосте и пробилась напрямик к тепленькому месту в банк, а там уже расселась вольготно. И не сдвинуть ее было с места, как молот Тора, жаль, что мама Лена не знала, что это за молот. А может, и не жаль.

Алусю она доучила до десятого класса, сдала, как багаж, в пединститут и, получив через пять лет с дипломом, пристроила на работу в лучшую городскую школу. Детей ей в класс выбирали придирчиво, как устриц к столу гурмана.

– Вот еще замуж бы надо ее выдать, – озабоченно шепталась мама Лена вечером с иконами. У них были особые отношения и сложные взаимозачеты – мама вроде бы обещала сделать что-то, если иконы справятся. И они свою часть договора выполнили – во дворе школы Алуся познакомилась с молодым человеком, который вначале расстроился, что она ученица, а потом обрадовался, что учительница. Звали его экспериментальным именем Радий.

– Некрасивая девочка, но с определенным шармом, – сказала мама Радия, преподавательница техникума Инна Марковна.

Радик решил, что это одобрение, и женился.

Жили с Инной Марковной. Алуся рада была сбежать от мамульки, которая недавно нашла у нее в сумочке презервативы и так кричала, что соседка пришла с вопросом:

– У вас всё нормально, Елена Максимовна?

– Ты так кричишь, мама, будто они использованные, – дерзко, при соседке, сказала Алуся. Она не хотела больше быть багажом, который сдают и получают.

Мама чуть не задохнулась ужасом, соседка – восторгом.

– Ты! Да как ты смеешь! Смотри у меня! – закричала мамулька, и тут Алуся выдала ей любимую шуточку Радика:

– Сама у себя смотри!

Мама Лена пошла пятнами, соседка была в экстазе, почти неприличном, как у святой Терезы Авильской.

Вот поэтому они с Радиком жили у Инны Марковны. Квартира полный метр, в приличном состоянии, девяносто шесть квадратов, три комнаты, большая кухня и абсолютно бесполезный коридор. Сейчас Алуся уже насмотрелась таких квартир в разных исполнениях, но эти длинные коридоры поражают ее, как прежде. Единственное их предназначение – чтобы ребенок катался на трехколесном велосипеде, от входной двери до санузла. Раздельного.

– Ты катался здесь на велике, признайся? – дожимала Алуся Радика. А Инна Марковна встречала ее с работы, стоя вдали неподвижно, как небо-скреб в конце проспекта.

– Голодная? – спрашивала она и, не слушая ответа, шла в кухню разогревать свои странные блюда. Рисовые котлетки. Тыквенную кашу. Фрикадельки из пшена. Мама Лена, та готовила крепко и справно, и втайне Алуся скучала по ее голубцам, как по живым людям. Но Инна Мар-

ковна и Радик были вегетарианцами. Инна Марковна вообще была слегка ушиблена по части животных, vyhаживала раненых голубей, не разрешала убивать тараканов, а с котом, пожилым и серьезным, у нее имелась просто какая-то мистическая связь. Когда Инны Марковны не было дома, кот ходил за Алусей по пятам и наблюдал, что она делает. А потом, вполне возможно, докладывал хозяйке.

В целом она была вполне милая женщина.

За мостом дело пошло на лад, машины не стояли, а ехали, и вскоре развиднелся нужный сверток с трассы. Две деревни, дорога через поле, село Коротыши, проселок, душистая черемуха, вонючая рябина. Машина мягко ткнулась носом в земляной бугорок.

– Паркуемся по звуку, как в Париже?

За спиной Лангепаса красиво, как на картине, стояли сосны – будто специально собрались. В ожидании Шишкина.

В небе грохотнуло. Алуся отцепила ремень дрожавшей рукой, незаметно понюхала свое плечо – вспотела в пробке. Как быстро человек пачкается и потеет!

Лангепасу нравилось, что Алуся пахнет живым человеком, а не парфюмерной клумбой, как его жена. Он всегда вначале обнюхивал ее и потом хватал так жадно, как будто тоже наскучался по

мясу, а она была котлетка маминого производства. Лангепас не был вегетарианцем. Без мяса у него тут же портилось настроение – как уральская погода. Без мяса и без Алуси.

Он потащил ее к себе в машину – она даже не успела вернуть на место ремень безопасности. Ремень свисал черной змеей до самой травы. Уж какая там безопасность! Черная змея ползла мимо и думала – что ж вы делаете, люди, а впрочем, дед рассказывал, вас для того и придумали.

Через полчаса пара автохтонов прошла мимо двух припаркованных транспортных средств, не заглядывая в окна. Приличные люди не интересуются тем, что делают в лесу другие приличные люди. Коротышинские автохтоны отличались особенно хорошим воспитанием – они даже в грибную пору держались в стороне от черного «ниссана» и красной «хонды».

Гром грянул так решительно, словно сцене не хватало звука, – и это было очень кстати. Финальная песня.

– К тебе нельзя привыкнуть, – шепнул Лангепас, и тут Алуся случайно, но довольно чувствительно толкнула его ногой. Потому что из соседней машины донеслось разъяренное телефонное пение. Илона. – И к этому я тоже не привыкну, – сказал любовник значительно более холодным голосом.

Алуся хлопнула дверцей. Втянула в машину намокший ремень. Дождь плакал по капле, как обиженный ребенок, который еще не решил, стоит ли использовать ресурс по полной.

– Мамулечка, – застонала Илона. – Мне только что показалось, что ты звонила. А я не успела подойти. Ты где, мой хороший?

«В лесу», – подумала Алуся, но вслух сказала:

– Квартиру показываю. На Ботанике.

– Хорошая квартира? – Илона устраивалась поудобнее в кресле, Алуся видела ее перед собой: девушка с прямой спиной и напуганным личиком сидит в кресле. С пультом в руке.

– Нормальная. Илон, я работаю. Перезвоню.

Лангепас вышел из машины. Красивый, подумала змея, возвращаясь в гнездо тем же маршрутом. Не буду жалить такого красавца, хотя надо бы. Разъездились тут. Лангепасу померещилось шуршание в траве, но тут очень кстати для змеи раздался новый небесный треск.

– А что это за звуки? – заволновалась Илона.

Лангепас курил с удовольствием, хотя пепел уносило ветром и листья шумели так, что даже самый непонятливый догадался бы, что сейчас начнется такой дождь, которого в Коротышах не помнили с прошлого года. Старая бабка из крайнего дома с грохотом закрыла ставни, даже собаку в дом пустила, хотя собака к такой милости не привыкла и долго отказывалась ее принять.

– Это ремонт у соседей. Стучат и сверлят.

– А, – успокоилась Илона. – Ну ладно, ты мне перезвони, как уйдешь оттуда. И купи, пожалуйста, орешков – по двести грамм кешью и кедровых. Целую, мамулечка.

– Как ты чудесно врешь, – сказал Лангепас.

Он опустил сиденье, Алуся упала назад – будто в объятья города, который никогда не подведет. И даже слова не успела сказать. Дождь в это время заливал водопадом окна, так что можно было не опасаться, что кто-то увидит эту земную, змеиную любовь. И кому было видеть? Хорошо воспитанные коротышинцы смотрели по телевизору вечно-го юношу – он рассказывал о том, как люди жили на нашей земле в далекие советские времена. Собака в крайнем доме иногда подвывала ему в такт, старая бабка всхрапывала, а юная внучка косилась на нее с раздражением. В этой семье всё было гармонично и правильно, как в рекламном ролике про бульонный кубик.

Губы Лангепаса были мокрые и красные, как мясо. В машине тоненько плакал случайно залетевший сюда и обезумевший от жары комар.

Ребенок в машине, вспомнила Алуся.

– Может, ты голодный? – спросила она невпопад.

– Скоро опять проголодаюсь, – ответил Лангепас.

Дождь разошелся, рыдал, как Илона над фильмом «Титаник». Алуся гладила лицо Лангепаса, удивлялась, какой он красивый.

В школе, в ее отборном и единственном пятом «б» учился мальчик несказанной красоты, но девочки этой красоты не видели. Детство – слепо, поэтому счастливо. Потом Алуся видела этого мальчика взрослым мужчиной – теперь девицы липли к нему, как комары к разгоряченному, влажному телу. Он даже по Алусе скользнул не сомневающимся взглядом – поманю, прибежите как миленькая. Не исключено, что прибежала бы.

Алуся была тогда Аллой Аркадьевной, классным руководителем и учителем русского языка с литературой. Но это не мешало ей выпивать с Радиком и его приятелями чуть не каждую ночь. Инна Марковна плотно закрывала за собой дверь спальни, а по нужде пробегала мимо них испуганной, как девушка.

– Знаешь, что про нее говорят? – спросил однажды друг Радика, не вспомнить сейчас, как звали. Инна Марковна только что прошелестела мимо и хлопнула дверь. И кажется, придвинула к ней тумбочку. Алуся огляделась по сторонам, муж ушел курить на балкон. Послушаем историю. – С Марковной совсем плохо.

– В смысле? Болеет?

Друг мерзко хрюкнул.

– Можно и так сказать. Перед каждой сессией выбирает себе жертву. Мальчика. Красивого. И только когда он окажет ей услуги интимного

свойства, только тогда группа будет допущена к экзамену.

– Дурак! – сказала Алуся. Она обиделась за Марковну, хотя и не любила ее никогда. Всё равно, придумывать такое про женщину – гадко.

– Это муж твой дурак, – разозлился сплетник, но тут вернулся Радик с балкона, и все быстро переключились. Они тогда легко переключались – как современные телевизоры. А к старым, рассказывает телеюноша, надо было подходить и крутить колесико с выступами.

Самое гнусное, что сплетни про Марковну ходили и после того случая, к Алусе они прилетали отовсюду. Но поскольку сама она ни разу не видела свою свекровь в объятиях молодого красавца, то верить им так и не научилась.

Потом, когда они уже развелись, но еще не разменялись, Алуся заглянула к Радикю поговорить насчет Илоны. Поразило, как обветшал дом и какой стала Инна Марковна. В черной шелковой «комбинации» – так назывался этот исторический бельевой предмет – она бродила по дому, застывая во всех углах. На Алусю она посмотрела, не узнавая, потом расплылась жуткой улыбкой и погрозила пальцем:

– Плохой мальчик!

Через год ее не стало. А те истории до сих пор гуляют по городу – как страшилки для юношества.

...Наутро после выпитого Радик крепко спал, он не работал в полном смысле слова, зато играл в группе на басу.

– Бездельник, – заклемила его мама Лена почти сразу, как увидела. Алуся отмахнулась. Мама Лена купила тогда дом в деревне, восемь соток сельскохозяйственного экстаза. Копала, полола, удобряла – всё сама. Алуся и Радик поначалу приезжали к ней на выходные, но мама быстро забрала зятя: – Работу не подпрашивает, только курит да спит.

Алуся тоже любила курить и спать. Но каждым утром, с понедельника по субботу, шла в школу, в пятый «б». С похмелья ее неудержимо тянуло на диктанты.

– Откройте тетради, – распорядилась она, не глядя в сборник. Дети обожали Аллу Аркадьевну, послушно застывали с поднятыми, как копыя, ручками. – Диктант! Название...

Алуся открывала сборник, ей хотелось кофе и сигарету. Представляла, как сладко спит сейчас Радик, – юркнуть бы к нему под одеяло, обнять... Тогда у них еще всё было, это после рождения Илоны муж вдруг отменил всяческую близость. В один день, просто взял – и отключил эту функцию. Всё прочее осталось – посиделки, разговоры, даже на концертах он всегда искал ее взглядом со сцены. Но всё остальное – извините, это не к нему. А ей было, между прочим, двадцать четыре года.

«Так, пожалуй, и до Инны Марковны недалеко, – думала Алуся. – Я бы тоже сейчас не отказалась от красивого мальчика, или просто от мальчика».

Она пыталась говорить с мужем, пробудить в нем чувства, как советовали в журналах, – в ход шли килограммы кружевных трусов, чулки с поясами, но Радик не сдавался. Теперь он не может, теперь она – мать.

Твою мать. Можно было догадаться. Когда Илоне исполнилось пять, Радик ушел к одной из засценных девиц – убогая версия американских группиз, но эта была свеженькая, как только что выловленный пескарик. И умеет кстати сказать: «Звук отстойный, басов вообще не слышно». Алуся с Илоной переехали в ту самую брежневку, и тогда же Алла Аркадьевна уволилась из школы.

– ...Написали слово «диктант»? Пасечникова, ты меня слышишь? Отлично. Теперь заглавие.

Черт, в этом сборнике тексты без заглавий. Не тот взяла. Ну ладно, выкручусь, – думала Алуся, листая страницы. Вот! Небольшой текстик. Начинается со слов «В лесу...»

– Заглавие «В лесу».

Дети корпят, выводят каждую букровку. Похмельная учительница читает дальше, а там, о ужас, больше нет ничего ни про какой лес.

– В лесу берет начало речка Каменка. Маленький ручеек течет, изгибаясь, среди берез и осинок, превращаясь в мощную бурную реку.

К счастью, ученики не задумываются, при чем тут лес. Они любят свою учительницу и верят ей. Она взрослая, она никогда не ошибается. Когда Алусю спрашивали, есть ли у нее любимчики в классе, она честно отвечала: «Я их всех одинаково ненавижу».

«Как бы я хотела взять где-нибудь свое начало и течь, изгибаясь», – тоскливо думала Алуся.

– Проверьте работу и сдайте. Пасечникова, собери тетради. До свидания.

Она отпускает учеников на двадцать минут раньше, не думая ни про этих чужих детей, ни про собственную дочь Илону.

А маленькая Илона сидит дома с бабушкой. Точнее, они обе в саду – так мама Лена зовет свои сотки, засаженные всем, что только может родить суровая уральская земля. И она рожает, куда бы делась. У мамы Лены всё растет крупно и кучеряво – даже малина у нее размером с воробьиную голову. А помидоры какие! Огурчики! Патиссоны! Соседка по поместью, интеллигентная женщина в предпенсионной фазе, за-вистливо поджимает губы, глядя, как колосится чудо-огород. Маленькая Илона бродит по дорожкам между грядками и канючит, просит маму.

– Другая бы посовестилась, – жалуется мама Лена вслух, так что ее слышат не только Илона

и соседка, но даже иконы в доме. – Приехала бы к девке. А она опять где-то шляется. Лучше бы я парня родила, честное слово!

Алуся, вдохновленная удачным финтом с квартирами, пристроилась в фирмочку, которая помогала ей с оформлением. Сначала сидела на телефонах, потом начала сама искать клиентов. Научилась всяким тонкостям, обсуждала несущие стены, перекрытия, трубы и соседей. Мура, директор фирмочки, стала потом близкой подругой и доверенным лицом Алуси. Вместе они открыли собственную риелторскую контору. Алуся в шутку предлагала назвать ее «Черная роза», но Мура юмор не оценила. Имя фирма получила в честь любимой хозяйкиной собаки – «Елизавета».

– Лучшие риелторы получают из бывших учителей и врачей, – говорила Мура. – Базовое образование плюс знание человеческой психологии.

Алуся считала, самое важное – понять, чего хочет человек. Почему съезжает с насиженного места, расстается с родными тараканами, рыдающими от близкой разлуки, и переезжает в чужой район, где даже собаки во дворе лают иначе? Найди ответ на этот вопрос – и дело сделано.

...Дождь шел так долго, что, если бы он был человеком, уже давно дошел бы куда нужно. Лангепас задремал, Алуся же вдруг начала волновать-

ся, а как они отсюда выедут. На повороте к Коротышам глубочайшая яма, Лангепасов джип ее даже не заметит, а вот Алусина «хонда», скорее всего, не справится. Будет беспомощно газовать. Надо будить милдруга и выезжать. До семи – звонок контрагенту, а еще магазин, орешки для Илоны и заехать к Муре вечером. На часах уже пять.

– Просыпайся, красавец, – ласково сказала Алуся. Лангепас вздрогнул, прижал ее к себе. Как вдруг раздался телефонный звонок – на сей раз не Илона, с облегчением подумала Алуся. Шашенька.

– Папочка, приезжай скорее. Я болею. Мама говорит, надо купить лекарство.

Мама громко подсказывала нужные слова, это было слышно даже Алусе. Вот стервь! У самой что, ноги не ходят?

Изобразила она, конечно, совсем другое – сочувствие, заботу. Нахмуренный лоб, поджатые губы. Даже перестаралась, кажется. Лангепас секунду смотрел на нее, а потом сказал в трубку:

– Перезвоню из аптеки, ждите!

Алуся познакомилась с Лангепасом четыре года назад. У нее была клиентка с Севера, а это особая порода. Время северяне ощущают совсем иначе – оно у них идет медленнее, и поэтому они всюду опаздывают. Желания у них зато меняются значительно быстрее, чем у тех, кто живет

ближе к нам. Им показываешь квартиры, одну за другой, ходишь по подъездам, а они вдруг говорят:

– А что, Алла Аркадьевна, может, нам дом посмотреть?

И начинается всё снова, потому что дом – совсем другая история.

Клиентка, которую вела Алуся, была из Сургута. Дама с мощным бизнесом и уверенным в себе бюстом. Алуся показывала квартиры, одну за другой, бахилы уходили десятками, по ночам снился шелест газет, которые хозяева стелили под ноги, но клиентке ничего не нравилось. Наконец, Алуся достала туза из рукава – имелся у нее один вариант, который они с Мурой держали про запас. Очень уж капризная была хозяйка:

– Ко мне без детей, пожалуйста.

– В смысле? – переспрашивала Алуся.

– Ну какой тут еще смысл может быть, женщина? Дети пусть дома остаются, нечего таскать их ко мне.

Противная тетка, но квартирка у нее была загляденье. Воплощенная мечта сургутчанки. Единственный минус – в этом доме были очень высокие подоконники. И зеркала почему-то висели высоко, словно для баскетболистов. Алуся представила себе, как мелкокалиберная хозяйка прыгает перед зеркалом с помадой, и рассмеялась. Где-то в комнате заклекотала птица в клетке.

– Снимайте всю одежду. И обувь тоже, – командовала хозяйка. Губы у нее от злости давным-давно съехали набок.

Сургутчанка, к которой Алуся, несмотря ни на что, уже прониклась всей душой, глянула на нее искоса и спросила:

– А парик оставить можно?

Они хохотали в подъезде еще минут пятнадцать после того, как хозяйка выставила их прочь. Алусе-то должно быть не до смеха – больше предложений в агентстве не было.

И в этот же самый вечер позвонила Мура, сказала, что в том же доме, где живет тетка с птицей, выставили квартиру на продажу. Идентичной планировки, и окна во двор, как хотела сургутчанка. И подоконники нормальные. У квартиры два хозяина, братья – один живет в Лангепасе, другой в Полазне.

«Наши люди, – подумала Алуся. – Хорошая аура в приложение к хорошей квартире».

– Завтра с нами свяжется контрагент, – зевнула Мура на прощанье и отключилась.

Алуся при слове «контрагент» загрустила. С ними всегда больше проблем, чем с клиентами. Каких уж только она не повидала...

И наутро действительно был звонок:

– «Елизавета»? Здравствуйте. На проводе Лангепас.

– Приятно познакомиться, Алла.

Правда, оказалось приятно. И знакомиться, и работать, и не только. Сургутчанка уже через два месяца получила документы на квартиру и попросила Алусю помочь ей с вывозом чужих вещей. Брат из Полазны вообще не приехал, брат из Лангепаса получил деньги и даже не зашел в дом, где жили его родители и он сам в далеком детстве.

Алуся попросила симпатичного контрагента (про себя она звала его исключительно Лангепас – это подходило ему больше родного имени) оказать ей услугу – разделить расходы по вывозу пополам. Он не только согласился, но и сам приехал помогать, с грузовой машиной и двумя молчаливыми парнями, почему-то в пиджаках, как у похоронных агентов.

– Они и есть похоронные агенты, – любезно пояснил Лангепас.

Ангелы смерти с трудом выволокли из дома пианино «Элегия» – клавиши у него были старые, в шрамах, похожих на послеродовые растяжки. Потом вернулись за креслами, шкафом, столом. В комнате оставалось всё меньше вещей. И всё больше возможностей.

– Дальше мы сами, – сказал Лангепас, и похоронные, взяв мзду, отбыли прочь.

– Агентство «Врата в рай», – прочитала Алуся надпись на борту машины. Курила у окна, смотрела, как уезжает старая мебель. Лангепас подошел сзади, обнял ее так, что она забыла, как дышать.

Потом они разбирали стенные шкафы, увязывали в пачки старые журналы, ветхие бумаги. Никому не нужные характеристики, результаты медицинских анализов, письма. Книги были сложены стопками – технические словари, Ленин, «Домашнее приготовление тортов, пирожных, печенья, пряников, пирогов» и случайно заглявший с этой компанией Лев Николаевич Толстой.

– Лев Николаевич Толстой учил добру народ простой, – процитировал Лангепас.

– Над седой равниной гор гордо реет Максим Гор, – отозвалась Алуся.

– Только не говори мне, что и ты в юности красила досочки со стариком Букашкиным.

– Что ты! Я рисовать вообще не умею. Зато люблю смотреть, как рисуют другие. А еще у старика Букашкина однажды пропала губная гармошка, и он подумал на меня.

Лангепас развел руками.

– Ты вошла в историю. А гармошку-то правда стащила?

– Нет. Но я тебе признаюсь, был случай, я украла в ресторане десертную вилочку. Очень уж она была красивая.

– Кстати, о вилочках. Давай закончим с этим разором.

Лангепас открыл очередной стеной шкаф, от туда водопадом хлынули бумаги, тетради, фото-

снимки, открытки, журналы – совсем уже несусветной старины.

Алуся подняла с пола древний журнал «Модный свет», из него выбежал недовольный таракан. Риелторы тараканов не боятся.

– «Модные осенние и зимние шляпы делаются из плюша, – читала Алуся вслух, пока Лангепас паковал журналы стопками. – Из больших круглых фасонов в моде, кроме Рубенса, Вандика, Гэнсбороу и Монсиньоре, и особенно “иезуитская шляпа” со смело отогнутыми полями». «Майский жук из стекла в моде для украшения бантов и шляп; иногда он просто накалывается на шляпу, без банта и цветов, так – без всякой видимой цели». – Как думаешь, это антикварная ценность?

– Безусловно. Надо связаться с владельцами. Но если ты хочешь прихватить парочку в придачу к той вилочке и гармошке старика Букашкина...

Алуся треснула Лангепаса пыльным журналом по голове:

– Я не брала гармошку! Сколько можно повторять! Смотри, здесь открытки. Старые.

Открытки были ровно столетней давности. «Открытые письма», точнее сказать. В этом была определенная смелость – отправлять открытой почтой признания, приветы и прощания. Большая часть адресована некой *m-lle* Худобедовой, проживавшей в Санкт-Петербурге.

«Дорогая Белочка, я от тебя не получила открытки, но считаю своим долгом написать тебе. Вероятно, очень уж тебе весело, что нас позабыла, но надеюсь, что еще напишешь, и напишешь подробнее, где бываешь, что делаешь и как тебе нравится всё окружающее. Здесь нет ничего интересного, чтобы написать. Крепко целую тебя. Бабуся». Имя отправителя – Изабелла Тиграновна Спандунянц.

Лангепас тоже забросил работу, листал вместе с ней журналы и читал открытки до ночи. Илона позвонила раз пятьсот, мама Лена прислала целый пук злобных смс. Но им было не до собственных живых родственников – куда интереснее с мертвыми чужими. Кругом роились тени. Полноватая женщина в шляпе, с трогательными усиками – Изабелла Тиграновна, тоскующая без любимой своей Белочки. Неловкий Юрий Глебович, признающийся в любви одной открыткой и требующий прислать «полотенцы» в другой.

«Милая моя ненаглядная голубушка Белочка! Солнышко мое пресветлое! Царица моя любимейшая! Была сначала маленькая надежда увидеться с тобою сегодня. Всё думал, вот-вот Ты придешь. Все свои глаза проглядел, поджидая Тебя. Теперь уже 1/2 девятого, Ты не придешь. Думал, что в окно поглядишь, но нет тебя. Белла милая! Я буду лучше, я буду стремиться быть всегда достойным Твоей любви.

Твой весь навеки, любящий тебя без конца.

P.S. Милая! Пишу в лавочке против Финл. вокз. Очень неудобно писать. Не обижайся поэтому на поправки».

Еще были Серафима Худобедова, которая «без гроша, но держит фасон», и Оль-Оль, вынужденная уехать в Томск и отказаться от женских курсов, но, подумать только, желает юной Худобедовой много смазливых поклонников. А Евгений Чириков? Студент в мышлении поздравляет Белочку с Великим днем ее ангела и желает ей встретить еще много таких дней. А также передает свое «стремление к ихнему вниманию Анне Петровне и Володе».

Открытки были не рисованные, а с подкрашенной фотографией на обороте. Тогда это было модно – прислать не рисунок, карточку. У красавиц-моделей сплошь темные кудри и пухлые шейки.

Лангепас читал вслух журналы:

– «На гигиенической выставке охранения здоровья женщины был выставлен тесемочный аппарат для придерживания торчащих ушей у маленьких детей».

«Слуг должно приучать к тому, чтобы они одевались не слишком небрежно, не слишком нарядно, отнюдь не позволять им вмешиваться в разговоры, или разговаривать между собой в вашем присутствии, или отвечать знаками, или в грубом тоне».

«Секрет красавицы египтянки Авториты Таонах Спендия открыт, и отныне каждая женщина может быть красивой и сохранить красоту до глубокой старины, употребляя только КРЕМ “Зенаб” и туалетную воду “Клеопатра”... В изящной заграничной упаковке...»

«Книга “Отчего я так красива и молода” высылается бесплатно к крему Пат Ниппон».

– Отчего я так красива и молода? – пошутила Алуся и тут же почувствовала, что плачет. Тень бабуси Спандунянец безуспешно пыталась вытереть ее слезы пожелтевшим кружевным платочком, но он тоже был тень. – Все они уже умерли, все до одного.

Лангепас пожал плечами.

– И никому не интересны, не нужны. Их жизнь – вот эти бумажки.

Тень бабуси Спандунянец возмутилась – ничего подобного, госпожа риелтор. Белочкины внуки до сих пор живут в Екатеринбурге, но они не подозревают, что архив своей бабушка хранила на квартире любовника. Копни поглубже – не такое увидишь, хохотнула тень «Серафимы с фасоном».

Лангепас словно услышал ее, вытащил с последней, нижней полки тонкий черный конверт – раньше были такие, для фотобумаги. А там! Высокая брюнетка позировала обнаженной – да в таких смелых позах, что тень бабуси Спандунянец забила в самый дальний угол.

– Белочка? – предположила Алуся. – Любимейшая царица? Представляешь, он хранил их всю жизнь...

– Почему он? Какой он?

– Женщина не стала бы такое беречь. А мужчина, влюбленный, – совсем другое дело. Не знаю, кто он, но что *он* – никаких сомнений. Эти снимки я точно возьму. Даже если это не Белочка, а Авторита Таонах Спендия.

– В Лангепасе их тоже оценили бы. И в Полазне.

– Нет, это моя доля. И, знаешь, поцелуй меня еще раз.

Тень Серафимы вздохнула и растаяла.

Вскоре Лангепас перешел к ним в фирму, и они довольно быстро договорились, что не станут больше встречаться на чужих квартирах.

– Это непрофессионально, – припечатала Мура, когда Алуся поделилась с ней по-подружески. Фотографии, впрочем, показывать не стала. Она их никому не показывала – хранила в домашнем сейфе, вместе с документами. Когда Алуся умрет, их обнаружат в ее квартире – и подумают о ней нехорошо.

С Лангепасом они теперь встречались в съемной квартире, и по сезону – в лесу. К Коротышам выехали, помнится, случайно и сразу поняли – это их место.

И вот теперь Лангепас сурово смотрел на Алусю, так, словно из него смотрел на нее кто-то чу-

жой. Он объяснял, что она взрослая самостоятельная женщина, а Шашенька и ее мама – сущие дети. И если он прямо сейчас не уедет, может случиться беда. Она должна это понимать, у нее самой – дочь. Лангепас прихлопнул комара на щеке и уехал, не задумавшись о том, как «хонда» выедет отсюда. В такую грозу они попали впервые.

Позвонила Илона, Алуся не стала отвечать. Она пыталась проехать яму, но не смогла. «Хонда» беспомощно газовала, сцепление воняло крепче рябины. Жизнь прошла, мы все мертвы. Алуся от злости уснула, видела сон. Во сне она была моложе своей дочери и мудрее своей матери. Тело – новое, аж скрипит, а голова – разумная, как у Марьи Моревны.

В крайней избе накрывали на стол. Внучка стряпала блины, бабушка дремала, программа телеюноши окончилась – как дождь за окном. На трассе мужчина торговал свежими раками, украсил свою машину табличкой с гигантскими буквами: «РАК». Собрательное существительное в народной вариации. Лангепас, проезжая мимо, вздрогнул – он верил в плохие приметы. И правильно верил – если какие и сбываются, так только плохие! Он почувствовал во рту железный привкус крови за минуту до того, как влететь под фуру, летящую в город по мокрой дороге. Алуся проснулась. Илона плакала, потому что мама не брала трубку, и хотелось орешков. Мама Лена по-

Анна Матвеева

лола морковь и сводила мысленные счета с «другой», у которой не хватило бы духу терпеть такую дочь. И только маленькая Шашенька вдруг ясно почувствовала, что ей стало легче.

– Мама, принеси, пожалуйста, градусник. И позвони папе.

Остров Святой Елены

Лене пятьдесят шесть, она любит того же и так же, как в девятнадцать.

Лена думает, что совсем не изменилась – потому рудиментарная, многожды осмеянная прическа с чулком в волосах и снова модная кофта-лапша, которую Лена бережет: надевает аккуратно, пришивает свежие подмышечники. Тридцать лет Лена выщипывает брови и рисует сверху темно-серые полосы, Лена носит тяжелые серебряные браслеты и толстые кольца того же металла: и украшения, будто сговорившись, шепчут правду о недавно отмеченном фруктовым шампанским юбилее, указывают, как стрелками, голубые бухлые жилки, покрывшие обезьяньи лапки тесным узором.

У Лены духи «Клима». Босоножки на платформе. Ноги с венозным рисунком и редкими тонкими волосками, которые она задумчиво выдергивает пинцетом во время разговоров по телефону. Телефон стоит в коридоре на полочке, и поздно вечером, если прислониться к двери Лениной квартиры, можно услышать все ее разговоры.

Впрочем, хватило бы одного: Лена не меняет тем и говорит всегда с одной подругой. Остальные совсем потеряли интерес к застывшей, будто пемза, Лениной жизни и зачеркнули ее адрес и телефон в записных книжках решительным движением руки или мысли.

Все годы прожиты в одной квартире. Мама родила Лену поздно и потому думала, что дочь – ее личная собственность, такая же, как телевизор, прикрытый бархатным занавесом, словно маленькая сцена. У Мамаы были еще два кота – Петя и Мося, и обоих Мама кастрировала, обливаясь слезами, чтобы они не взяли вольную, нарушив Мамин интерес. Если бы можно было, Мама обесполила бы и Лену, Впрочем, ее воспитание абсолютно заменило эту мучительную операцию. Лена не гуляла с мальчиками, не звонила им по пубертату или пьяни, как это случалось с ее подругами (особенно с той Мариной, которой Лена звонит иногда, выщипывая волоски на ногах), Лена не вышла замуж, и Мама иезуитски ругала ее за это, втайне благодаря Бога (с ним у Мамаы было заключено некое соглашение, по которому можно регулярно убивать жизнь в собственном ребенке, только ходи в церковь и молись о спасении души).

Лена окончила педагогический институт – фабрику по производству старых дев и долго педагогила в школе. Детей она не любила и не хотела: школьники пугали ее своей непредсказуе-

мостью, а главное – утрашающим количеством. Лене даже и в голову не приходило, что по отдельности они ведут себя по-другому. Вечерами Мама счастливо слезилась глазами, когда они с Леной сидели у телевизора, откинувшего бархатный, в бомбошках полог, и как бы со стороны Мама видела их тонкие пальцы, играющие спицами, и вязаные полотна, спадающие на ситцевые цветочные халаты. По телевизору передавали сатириков, и Мама угодливо смеялась, желая возместить Лене собственноручно спродюсированное одиночество.

Дочь никогда бы не призналась вредной ревнивой старухе в том, что любит и полюбила уже давно – еще в девятнадцать, и даже не девушка уже. Тут у пока еще тридцатилетней Лены краснели щеки сквозь пудру «Кармен», а белый недовязанный шарф отливал розовым; впрочем, может, это только казалось слеповатой Маме, пристально и подолгу наблюдавшей собственное сокровище, понуро высчитывающее лицевые и изнаночные.

Девятнадцатилетнюю годовщину поступления в Мамино рабство Лена справляла дома, с подружками. Подруги хотели мужского общества, внимания, танцев и кухонно-ванных поцелуев, и поскольку Мама никогда бы не смирилась с таким развратом (на этом слове у Мама топорщились реденькие, будто у подростка, усики), то день рож-

дения быстро закончился. Полувывсохшие салаты, обильно сдобренные майонезом, укоризненно смотрели на Лену круглыми глазками горошин, увядшие листики петрушки и кинзы в граненом стакане пародировали ее настроение, и когда за последней – самой терпеливой, – Мариной, хлопнула дверь, обитая вишневым дерматином, Мама торжественно внесла в комнату торт с девятнадцатью свечами, плотно вкрученными в засыпанный измельченной крошкой, хорошо пропеченный корж.

Лена выбежала из комнаты с синими ожогами в глазах от этих ненужных и никому не интересных свечек, она чувствовала себя такой нелепой, что ее чуть не задушила обида, как это бывает только в день рождения. Мама недоуменно посидела возле полуразграбленного стола, потом вздохнула и начала нарезать торт на ровненькие треугольные кусочки. Ловко подцепила один из них лопаточкой и опрокинула в свою тарелку. Лена тем временем быстро оделась, всхлипывая и заливая свитер черными от ленинградской туши слезами. Ей просто хотелось убежать вон из этого маленького жилища, где с ней считались не больше, чем с кошками Петей и Мосей.

Это был первый и последний бунт Лены, вспыхнувший от пламени тех самых именинных свечей. Она пронеслась мимо задумчиво поглощавшей торт Мамы, убирая на ходу волосы в узел.

Платье, сшитое Мамой из импортного поплина, валялось на полу скомканное, будто вчерашняя газета. Мама аккуратно подняла его, отряхнула и повесила на плечики. Потом собрала посуду, последовательно очищая тарелки от объедков и укладывая их одна в другую, будто играла в какой-то странный конструктор. Вскоре на кухне зашумела вода, и кошки заступили на вечернюю службу возле своих мисочек.

Лена бежала долго, пока не начала задыхаться. Тогда она остановилась и пошла, но тоже быстро, будто опаздывала на самолет. Она забыла взять плащ, и теперь пришла пора пожалеть об этом – тучи уже синели над головой, наливаясь и зрея, будто гигантские виноградины, откуда-то издали неслись тихие бормотания грома. Лена вытянула рукава свитера и спрятала руки, сцепив их так крепко, как могла. Она уже не плакала, только по привычке всхлипывала, и еще брови у нее никак не могли опуститься, заняв страдальческое место на лбу почти у края волос.

Такой он и увидел ее – девушку Лену, как стал потом говорить. Он ехал по набережной в большой нарядной машине и смотрел на Лену через стекло.

Машина остановилась, и он вышел – невысокий, некрасивый, не, не, не, неважно, он посмотрел на Лену еще раз, взял за плечи и повел в машину. Как раз начался дождь, темные капли закрасили

асфальт и принялись за стены домов. Лену били страх и холод, она старалась не смотреть в зеркальце, откуда глядели незнакомые глаза – такие же темные и крупные, как будто первые капли дождя на асфальте.

Образованная Лена сразу поняла, кого он ей напоминает – случайный спаситель на механическом коне, тот мужчина, в которого она уже была влюблена с первых тактильных ощущений, которые достались плечам, и плечи теперь горели, будто подожженные. Даже имя его – Николай – совпадало заглавной буквой с героем, которого Лена давно выбрала из тесных колонн великих людей, запрудивших просторную площадь Истории.

Репродукция давидовской «Коронации в Нотр-Дам-де-Пари» висела у Лены над письменным столом, и она хорошо помнила странно современную стрижку императора, его осанку и упрямый нос. Она была влюблена в Наполеона давно и уже навсегда безответно, потому, увидев живое воплощение своей любви за рулем, уверенно ведущее стального жеребца сквозь хлещущие потоки почти тропического ливня, ей не оставалось ничего другого, как совместить две любви в единое целое.

Николя – так, на французский манер, она стала его называть.

Николя привез ее в ресторан, вечно пустой и оживавший только во времена партсъездов. Лена расчесала волосы пальцами и мстительно пред-

ставила себе Маму, спящую с открытым ртом под выпуск «Международной панорамы» и всхрапывающую в самых интересных местах.

Они сели за столик, и Николая что-то шепнул толстой официантке. Та кивнула и очень быстро забегала, так что вскоре и этот стол покрылся бутербродиками, вазочками с салатами и маленькими порциями заливного, в котором навечно застыли морковные шестеренки и плоские волокнистые кусочки серой говядины. Новым был только графинчик водки, на запотевшем боку которого Лена безотчетно начертила букву Н.

День рождения не желал сдавать позиции. Лена, выпив две рюмки водки, оказавшейся не такой уж противной на вкус, обмякла и подробно рассказала Николаю о Маме и обо всей своей жизни. Новый знакомый делал бровями и глазами, будто ему интересно, но Лена чувствовала – он слушает ее совсем чуть-чуть, и спроси она его резко: что я сейчас говорила? – быть может, Николая и не смог бы повторить ее слова. Лене, однако, непременно надо было выговориться, поэтому, когда официантка пришла забирать пустую, в жирных следах посуду, девушка всё еще жаловалась на Маму и всё пьянела и пьянела от водки. Николай подливал участливо и про себя не забывал, и, когда Лена стала говорить ему, заплетаясь языком, что он очень похож на Бонапарта, эта мысль не показалась ему глупой – впрочем, наверное, только нескольким муж-

чинам в мире такое сравнение не понравилось бы, а Николая уж точно не принадлежал к их компании.

В черноте они не сразу нашли машину. После дождя сильно пахло яблоками и новыми листьями, и Лена открыла окно, вдыхая темный ночной воздух. Николай вел коня абсолютно пьяный, и странно, что Лене это совсем не беспокоило. Ветер вил гнездо в ее волосах, ей казалось, что она вот-вот умрет или уже умерла.

Смутно помнился чужой подъезд с незнакомыми ступеньками и окнами, дверь с яркой табличкой, которую пьянство не позволило прочесть, и в конце всего – унитаза, над которым Лена склонила голову и содрогалась, выливая прочь ярко-розовые порции вонючей жидкости. Николай держал ей волосы. Потом у Лены саднило горло, и ей было так плохо, что она даже не вспомнила про Маму, которая так и не ложилась в ту ночь, а выглядывала из окна в темный закуток улицы, изредка разрезавшийся ночными фарами на длинные лоскуты.

Последнее воспоминание: Лене крупно колотит похмелье под чужим клетчатым пледом, яркий верхний свет бьет в глаза, на стене – портрет красивой женщины в жемчужных бусах, а рядом, под пледом – *совсем* голый Николай с непонятной улыбкой еще неизвестных, но уже родных из-за Бонапарта губ.

Утром она снова увидела эти губы, но теперь без улыбки – он спал так беззвучно, что ей стало

страшно: умер? И она тихонько приблизилась к его лицу, а он открыл глаза и удивился, потом вспомнил ее и засмеялся. Лена натягивала на себя плед – и всё зря, потому что он смотрел ей только в глаза. Он сказал, что ей не стоит больше пить или стоит научиться это делать... Впрочем, добавил Николая, он сам виноват – подливал масла, то есть водки, в огонь, и теперь – Николая выразительно посмотрел на нее – ему и нести ответственность. Лена мучительно вспоминала какие-нибудь непоправимые подробности ночи, но в памяти обнаружились только тихие тиканья чужих часов да жуткий запах блевотины, который, казалось, пропитал всё вокруг. Лена попросила разрешения принять душ, и Николая дал ей большое, удивительно мягкое полотенце.

Когда она одевалась, Николая уже не было в комнате, аккуратно, будто по линейке убранный плед лежал с краю приведенного в дневной вид дивана. Лена подошла к зеркалу, чтобы ужаснуться своему виду, но вопреки ожиданию отпугнуло ее совсем другое. С ней-то всё было в порядке – легкая припухлость глаз и бледные щеки не в счет. А вот на полочке у зеркала стояла целая батарея косметики и дорогих духов – Лена и не видала такого богатства никогда в жизни. Рамочка, установленная между ярко-голубой коробкой «Клима» и шкатулкой, тяжелой даже с виду, дублировала портрет, который Лена уже видела на по-

луночной стене. Зубы и жемчуг на шее единого цвета и калибра.

Лена молчала про свои находки за завтраком, который Николая подал в кухне, которую можно было принять за еще одну комнату. Ела без аппетита и слушала легкий светский треп, который Николая умело сочетал с заинтересованными взглядами, прилетавшими ей прямо в глаза. Кухня с ходу проговорилась, что здесь частенько бывает женщина – одна и та же. Полосатый фартук, подвешенный на собственных завязках, розовая, с золотыми и белыми цветочками чашка, которую Николая даже не подумал дать Лене (сам он пил из высокой серой посуды, скорее столового, чем чайного предназначения), и еще один портрет на стене – на этот раз женщина была без жемчугов, зато с Николаем в обнимку. Взгляд Николая слегка изменился, и он сказал, что да, женат, притом счастливо. Лена молчаливо, одними глазами задала ему еще один вопрос, и он, не медля, ответил: да, у них две дочери, и все они, вместе с Жемчу-женой, улетели в Сочи, там уже так тепло, что можно купаться. Не бывала ли Лена в Сочи в эту пору? Лена вообще не бывала нигде, кроме их с Мамой квартиры, институтских корпусов и еще – даже рассказывать было неинтересно.

Теперь Николая молчал, и Лена почувствовала, что ей пора уходить. Было одинаково страшно предстать перед Мамой и расстаться с Николаем,

особенно теперь, под утренним солнцем, когда он еще больше стал похож на императора. Николя проводил ее до дверей и сказал, чтобы она не беспокоилась, он ничего не пытался с ней сделать. Она протянула ему руку и почувствовала бумажный клочок с выдавленными следами.

В лифте она развернула бумажонку и увидела телефонный номер, написанный красивым четким почерком.

Мама полулежала в комнате лицом к стене. Ноги в ребристых чулках цвета жидкого какао с яркими пятнами штопок на пятках, худенькие, бледно-красные локти, седые волосы убраны в аккуратную плюшку и закреплены рыжим гребнем с неровными, кривенькими зубчиками. Лену словно ударило от жалости и стыда. Она заплакала и позвала Маму, но та лежала упрямо и не желала повернуться. Со стороны казалось, что Мама внимательно изучает картину Шишкина «Утро в сосновом лесу», которая была воспроизведена в стенном ковре. Шторы оказались наглухо закрыты, а на столе громоздился вчерашний торт, заветрившийся и без трех сегментов.

Так и было до вечера: Лена плакала, Мама смотрела в ковер, торт же был в центре события, он высыхал прямо на глазах, и отчего-то именно его было жаль Маме больше всего. Наверное, из-за него она и встала к вечерним новостям, проехав по

Лениному раскаявшемуся личику невидящим взглядом. Мама встала с дивана, но тут же сложилась углом и сделала такие губы, будто собиралась свистнуть. В сочетании с молебно поднятыми бровками это означало страшную, нечеловеческую боль, вошедшую в Мамино тело. Отрепетированный перед зеркалом этюд удался на славу, и простодушный ребенок кинулся поддержать слабеющую на глазах родительницу. Мама довольно сильно пихнула дочерний бок свободной от самообнимания рукой.

Через пару часов, когда самодеятельный спектакль закончился, Мама и Лена сидели перед телевизором с откинутым бомбошечным занавесом и смотрели новый фильм про любовь. Точнее, смотрела Мама, а дочь просто глазела в экран, при том что в висках у ней сладко билось на три слога новое слово: Ни-ко-ля.

Ей удалось позвонить Николаю только через неделю. Мама хоть и проглотила малосъедобную байку про ночевку у бестелефонной Маринки, но решила умножить бдительность и подвергла себя просто адскому труду. Она ночевала теперь в одной комнате с Леной, а утром ходила с ней в институт. Подружки не могли даже смеяться – так им было жаль Лену, хотя она улыбалась открыто, забыв даже про тот некрасивый зуб слева, который лучше не показывать. После третьей пары Лена

спускалась к памятнику, указывающему рукой на коричневый плащ с Мамой внутри. Мама плотно сжимала губки при виде дочериних подруг, а они здоровались, бессердечные, как-то неприветливо и норовили поскорее проститься.

Вечером Мама разыгрывала перед единственным своим зрителем новые хвори, и Лена покорно сидела дома, приносила к телевизору бутерброды и черный, словно вакса, чай. Так было до пятницы – когда позвонила Марианна Степановна, Мамина приятельница (слова *подруга* для Мамы будто не было), и пригласила Маму с Леной на дачу на два дня. У Лены как раз пришли праздники – так она называла малоприятные дни, повторяющиеся из месяца в месяц. Праздники всегда продолжались не меньше недели и сопровождались страшными болями, один раз она даже потеряла сознание, так что перепуганная Мама, забыв, как сама полвека назад маялась от крутых виражей в собственном животе (будто волки грызли ей внутренности), вызвала «скорую». Врач приехал мужчина, усатый и игривый. Попросил Маму выйти из комнаты и, когда она, возмущившись, отказалась, при ней сказал, что волноваться не о чем, когда Лена выйдет замуж (тут он улыбнулся под усами), всё это пройдет. Мама потом пила настойку пиона, а Лена глаз не могла поднять, лежала на боку и плакала, будто без того потеряла мало жидкости.

В этот раз Лена тоже мучилась – зеленая, жалкая извивалась на диване, и Мама довольно спокойно оставила ее дома на два дня.

Когда дверь хлопнула, Лена постаралась выдохнуть из себя боль вместе с воздухом. Боль задумалась и ушла куда-то в поясницу. И принялась за дело так, что Лена закричала.

Она собралась пойти на кухню только через два часа. Разжевала две таблетки анальгина и проглотила их не запивая. Села на пол и закрыла глаза.

Мама не разрешала попусту глотать таблетки – это было вредно. По Маминому мнению, боль надо было терпеть. И теперь, когда Лена нарушила закон, стало легко и страшно одновременно. Боль растворилась, вышла наружу в поисках новой жертвы, а Лена аккуратно обрезала анальгиновую упаковку, так что никто бы и не заподозрил, что изначально здесь было на две таблетки больше.

Черный, в круглых, оставленных Мамиными пальцами следах телефон призвякнул, лишь только Лена сняла трубку. На секунду показалось, что в телефоне сидит Мамин шпион, но шестизначное число всё-таки было набрано, притом безо всякой шпаргалки – Лена запомнила его еще в лифте, как песню, а бумажку бросила в урну, разорвав несколько раз (чем мельче становились клочки, тем яростнее они сопротивлялись уничтожению).

Номер был рабочим – потому что ответил мужской голос, но другой, не принадлежавший Нико-

ля. У любимого Леной был академический, памятный голос, кроме того, он довольно заметно выделял парные звуки з-с, попросту говоря, выставлял язык между челюстями, будто пес или англичанин. А у того, что ответил, голос был так себе – и Лена попросила Николая. Голос повеселел и закричал фамилию Николая, которую Лена слышала первый раз, и фамилия ей понравилась.

Николя если и был рад, то не показал этого, но позвал в гости сегодня же вечером. То, как он торопился встретиться с Леной, более искушенной мадам указало бы на скорый возврат семейства и конец разврату. Однако Лена не могла провести ни таких параллелей, ни перпендикуляров, поэтому сказала, что, конечно же, придет, но чувствует она себя не очень хорошо. Николая задал ей несколько вопросов, как опытный врач, после чего перенес встречу на неделю. Шепнул в трубку, что целует, а потом положил ее на рычаги.

С дачи Мама вернулась подобревшая и с мешком зелени, которой и начала кормить Лену нещадно. Лена ела, кивала и мучительно соображала, как бы ей вырваться к Николаю. К счастью (ли?), Лена поделилась проблемой с ушедшей Маринкой, которая согласилась прикрыть подругу, сочинив семейный праздник, на который Лену пригласила Маринкина мать – Мамина антиподша, молодая гибкотелая красотка, из-за ее измен Маринкин па-

па однажды не на смерть, но значительно вскрыл себе вены. Лена сделала вид, что ей совершенно не хочется тащиться на это занудное семейное собрание, и Мама начала ее выпихивать со страстью, которой хватило даже на утюжку того же поплинового наряда.

На пороге Мама что-то заподозрила, но Лена уже поцеловала ее в щеку, которая напоминала сырое песочное тесто, продававшееся в «Домовой кухне», и, не торопясь, вышла из дома.

В этот день они с Николая стали любовниками, а вечером с Мамой смотрели телевизор, и Лена обильно рассказывала о Маринкиных родителях и старшей сестре Людмиле, которая окончила горный с красным дипломом.

Лена любила беззаветно, но ответно. Так ей казалось. Николая говорил приятные слова, возил в рестораны, учил есть салаты вилкой и ножом. Он подарил ей золотые серьги (не кольцо – Лена мечтала о кольце, символе вечной любви, она ведь уверена была в том, что Николая скоро разведется и предложит ей всё, что у него есть), которые хранились у Маринки дома (ее мать пару раз надевала их к любовнику), и много раз говорил, что Лена – красавица.

Маринкина мать, которая курила и просила звать ее «просто Вера», научила Лену выщипывать брови, делать прическу с чулком и красить губы,

смешивая разные помады. Мама была в ужасе, пыталась бороться, но Лена сидела дома, лишь изредка посещала как бы Маринку, которая стала единственным свидетелем запретной любви. Николая, впрочем, об этом не знал. Он встречался с Леной в какой-то нежилой квартире, обставленной скупой и неуютно, будто в нее свезли со всего города ненужные вещи.

В конце института у Лены пропали месячные. Закончились праздники. Она спросила у Николая, что теперь делать, и он отвез ее на платный аборт. По тем временам сделали ей всё просто шикарно, но детей у нее больше быть не могло – потому что Николай перестал с ней встречаться, а других мужчин она не могла представить рядом с собой, даже Наполеона – кроме того, он ведь уже умер и ожил заново в Николая. Так что круг опять замыкался, не было видно даже следа, где сливались линии.

Николай перестал подходить к телефону и прислал к Лене своего друга, который сказал, что у Николая серьезная проблема – вся семья может поехать в Алжир на три года, но если выяснится, что у Николая любовница, да еще такая молоденькая (тут друг улыбнулся, и Лена увидела, что у него кривые зубы)...

Лена работала в школе и смотрела мимо детей, объясняя им про Пушкин-это-наше-все. Она говорила, что пафос поэзии Пушкина в художествен-

ности, забывая, что дети не поймут такое никогда. Они называли ее Русалка, не потому, что глаза Лены были словно из реки зачерпнуты, а волосы всегда чуть влажные, а потому, что, читая Лукоморье, она перепутала, сказав: «Русалка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей». «Без носа, без ушей», – хохотал отличник, похожий на маленького Николая.

Три года прошло, еще три, еще пять. Десять. Двадцать. Годы скакали, как лошади Марли: ушел совок, пришел капитализм с нечеловеческим лицом. Умерли от старости коты Петя и Мося. Появились наркоманы, колбаса, книги, лифчики, заказные убийства, доллары, страх, решетки на окнах и парадные на ключах, билеты в Париж, СПИД и компьютеры. Исчезли зарплаты, пафос, чистота, боязнь наказаний, комсомольские собрания, бескорыстие, скромность, волосы на женских ногах и когда весь город в одной помаде. Маринка родила тройню, а просто Вера развелась с мужем и уехала в страну, которую Мама, влюбленная теперь в Невзорова, презрительно называла Жидостан.

Лена рассказывала про Пушкина, носила платье с молнией, ела много булочек с маслом и читала книги про Наполеона. Она в начале поправилась, потом похудела, и кожа некрасиво висела на ней, будто на мопсе. Прежде чем надеть платье, Лена собирала кожу в складку и потом уже застегивала

платье. Ночью Лена обнимала себя за плечи, скрестив руки на груди, и так, в героическом виде, спала до рассвета.

Мама перестала молиться, но иконы из комнаты не убирала. Святой Николай-угодник, на которого Мама раньше по часу просматривала полуслепые, в очках глаза, зарос пылью, и Лена из жалости несколько раз отряхивала его рукавом.

Однажды позвонила Маринка и, солируя на фоне тройного детского бэк-вокала, сообщила, что Николая теперь директор фирмы, которую Лена знает. Лена не знала, она не вникала в приметы новой жизни, ей привыкло с воспоминаниями о Николае, любовью к нему, еще у нее были Пушкин и Наполеон. Маринка терпеливо повторила название, потом сказала, что это неважно, и надиктовала Лене номер телефона.

Мама была уже почти совсем глухая, поэтому Лена позвонила почти при ней – из коридора. Аппарат был тот же самый, по которому Лена звонила двадцать лет назад, тот же самый был и голос Николая. Он не удивился, не обрадовался, назвал Лену милой бонапартисткой, рассказал про успехи дочерей и спросил, что надо. Лена сказала, что ей ничего не надо, только она просит Николая – если ему вдруг в старости будет одиноко и тоскливо, пусть он позвонит Лене, она заберет его к себе

и будет за ним ухаживать. Николая не очень понравилось, что Лена намекает на его годы, но он записал номер, не думая зачем. Джеймстаун! Остров Святой Елены! – сказал он и попрощался, довольный своей шуткой.

Лена долго потом сидела в коридоре с трубкой в руках и не сразу услышала громкий стук в спальне. Когда она вбежала в комнату, то увидела сухенькое Мамино тельце, лежащее на полу с иконой святого Николая на голове. Икона упала и сильно ударила Маму. Та усмотрела в этом событии страшный мистический смысл и в больнице – от страха, не от ушиба – умерла. Лена похоронила ее на хорошем месте, в самом центре кладбища. Она не плакала, но душой сильно скукожилась и такая осталась уже навсегда. В нужный день, несколько лет подряд Маринка приносила водку, и они пили ее на могиле, хотя Маме бы это не понравилось, как и пепел Маринкиных сигарет, летящий прямо в лицо на памятнике.

Лена начала готовиться к приему Николая. Она отмыла Мамину комнату и купила новый диван. Поменяла шторы и достала из шкафа парадный сервиз, на который Мама не разрешала даже смотреть. Почему-то Лена была уверена, что на пенсии – а ждать осталось каких-то пять – десять лет, Николая будет заброшен и никто, кроме Лены, не будет за ним ухаживать. Через два года после

смерти Мамы Лена еще раз позвонила Николаю и сказала, что остров готов. Николай спросил – Эльба? или всё-таки Святая Елена? – намекая на выбор между бегством и смертью. Лена сказала, что Корсика, и Николай засмеялся. У него немного изменился голос, потому что мужские гормоны ушли навсегда, а Маринка сказала, что видела его и Николай теперь лысый и толстый, но всё это было неважно.

Новые шторы сначала стали привычными, потом надоели, сервиз наполовину разбился, а у дивана сломалась ножка. Лена поседела, но так и не сменила прическу. В школе ее уже совсем не любили – учила она по старинке, а теперь требовали индивидуального подхода к ученику. Девочки из одиннадцатого класса – те, что с короткими челками и в широких штанах, которые висели так, будто кто-то в них, в эти штаны, наложил, – девочки смотрели на Лену презрительно, хотя она была одета по той же моде, что и они, – просто у нее эти вещи сохранились с незапамятных, по короткочелкиным представлениям, времен, и это было смешно. Однажды на уроке у Лены разошлась застежка-молния на зеленом платье с тканевыми выдавленностями разных размеров. Лена неловко пыталась поймать разъехавшиеся части платья и прикрыть бледный большой живот, уже глядящий любопытно на учеников своим крупным пупо-глазом, а потом выбежала из класса и в тот же день решила уй-

ти на пенсию. Заменить ее было некем, поэтому Лена доработала до конца года, и уже потом проводили ее с облегчением и цветами, которые долго жухли на кухонном столе, пока Лена смотрела в окно, на старушечий манер.

У Маринки родился шестой внук. Лена не понимала, как этому можно радоваться, но делала вид, что рада за Маринку, в свободное от ожидания Николая время. Рабочий телефон Николая не отвечал, а домашнего Лена не знала.

Осенью, вечером, в универсаме Лена покупала масло и бананы, к которым пристрастилась теперь, как и к латиноамериканской кинопродукции (ей виделось многое сходство между судьбами чернявых, по много раз преданных и отвергнутых героинь и своей собственной). Она устала мечтать о последних годах – своих и Николая, которые они проведут вместе в ее квартире, если угодно – как на острове... Да, остров – там не будет никого кроме, и это так правильно! Заново увлекшись, улыбаясь, Лена забрела случайно в рыбный отдел и увидела элегантную пару, склонившуюся над замерзшей серой камбалой так, будто она была их первенцем. Женщину Лена не знала, только жемчуг на шее сделал дежавю, а мужчина был Николая.

Лена внимательно посмотрела на своего любимого, с девятнадцати и по теперь единственного. Отметила красненький нос, коричневый пигмент по рукам, тяжелую одышку, седые волосики в ушах,

Остров Святой Елены

ласковый взгляд, мечущийся от рыбы к жене. Жена была до странного моложавая, худенькая и одета лучше Лены, нельзя не признать. В отделе пахло рыбой, а вокруг Николая и его Жемчу-жены витали какие-то неземные запахи.

Резко повернувшись, Лена вышла прочь, забыв про масло. Обида больно стучалась в уши, и Лена побежала быстро, изо всех сил, как могла. Толстые ноги и тяжелые груди тряслись, как заливное, покой которого потревожили вилкой. Лена всхлипывала и бежала, пока не начала задыхаться. Тогда остановилась и пошла, но тоже быстро, будто опаздывала на корабль. Который увезет ее на остров, откуда не надо – никогда не надо будет возвращаться.

День Патрика

Месяц назад я стояла в университете перед доской, на которой висит расписание экзаменов и объявления:

Группе 201 срочно записаться на летнюю практику. Обращаться к старосте Куковьякиной.

Ваня, почему ты ушел и меня не дождался? Приходи сегодня вечером к солдатской бане, вся чужая Ж.

(У этих явно был в программе «Мелкий бес», недавно причем.)

И последнее, написанное старательным крупным почерком:

Киностудия ищет девушку 20–22 лет для участия в съемках художественного фильма. Обращаться по адресу: улица Луначарского, киностудия, комната 207, Безматерных В.Ф.

– О! – сказала я себе и потом чуть громче повторила для Мокроусовой Веры, которая как раз вышла с кафедры истории печати: – О!

– В каком смысле «О!»? – не поняла Вера, и я указала ей на объявление.

– А вдруг там предусмотрены эротические сцены? – сморщилась Мокроусова.

Надо сказать, что с Верой у нас полное взаимопонимание: мы уже давно оплакали тот факт, что мы обе – девушки, то есть женщины. Потому что мы с Мокроусовой Верой – идеальная пара. Нам только мужчины издревле нравились разные, что только усугубляло нашу идеальную сочетаемость. Сначала мы с Верой учились вместе в школе, она была почти отличница, а я – чистоводный гуманитарий с тройками по физике, химии и обоим математикам. Зато в универ я поступила с первого раза, а Вера парилась еще год кафедральным лаборантом и теперь училась на курс младше.

– Эротические сцены на Свердловской киностудии... Оксюморон. Горячий снег. Плачущий большевик. Надо сходить, наверное, как ты считаешь?

Мокроусова пожала плечами – ее не привлекало массовое искусство.

Потому на смотрины я отправилась в одиночестве.

Сессия почти закончилась, остался всего один экзамен – заруба, зарубежная литература, которую я очень любила и поэтому совсем не готовила, думала, что и так сдам. На киностудию пошла пешком из универа – на мне были красные брюки-бананы и футболка с вышитой надписью: *Пушкин* –

это наше всё! Мне эту футболку смастерила одна народная умелица по фамилии Мурдер.

В киностудийном холле сидела бабка-вахтер классического посола: серый халат, косынка, вьедливый взгляд, газета, бубнящее радио, алюминиевое ведро у ноги.

– Чаво тебе? – спросила она, зыря на мои красные брюки.

– Я к Безматерных Вэ Фэ. В кино хочу сниматься. По объявлению.

Бабка недобро глянула мне в глаза и начала крутить телефонный диск – даже мне, издали, было видно, какой он засаленный и черный. Вот бабка! Лучше бы вымыла телефон с порошком, чем тут нервы мотать.

– Светланиванна! – подобострастно закричала бабка в трубку. – Здрасьте вам, Калерефимна с вахты звонит!

Я, кстати, прямо не могу, когда звонят. И ложат. Если человек звонит и ложит, я с ним просто не могу общаться. Я с одним молодым человеком перестала общаться после того, как в один недобрый час он сказал мне по телефону: «Лена, это Миша звонит». Бр-р-р!

– Светланиванна, – лебезила бабка, – тут пришла кака-то женщина (здесь я обиделась – мне, между прочим, всего только двадцать лет исполнилось), говорит, что к Владимирфилиппычу сниматься. Пускать?

Выслушав ответ невидимой Светланиванны, бабка метко швырнула трубку на рычаги и мотнула головой в сторону:

– Проходи.

Киностудия казалась совершенно тихой, вымершей, какой бывает школа в июле, когда все нормальные дети уехали на дачи или юга и только я, бедная, хожу в дебильный городской лагерь, чтобы полоть юннатские грядки и отмывать белевые разводы... Справедливости ради надо сказать, что такое случилось всего один раз в жизни, поэтому, возможно, и въелось в память, как та самая побелка в крашенные стены. Наверное, думала я, всё дело в том, что киностудия почти обанкротилась – говорят, что здесь уже сдают площади в аренду всяким сомнительным предприятиям.

Дверь распахнулась будто сама по себе – внутри оказалась целая куча народу. Густые облака сигаретного дыма, спрессованные под потолком. Всё очень напоминало тайное собрание революционной молодежи, каким я его себе представляла по книгам и фильмам.

– Это вы пришли пробоваться? – строго спросила пухлявая женщина лет сорока, одетая в легкомысленную вязаную юбочку поносного цвета. Светлана Ивановна, догадалась я – потому что все остальные в комнате были мужчины. Волосы у Светланы Ивановны были заплетены в девичьи косички, черные с проседью, да и всё остальное

в ней выдавало сильную страсть казаться моложе, чем она была, лет на двадцать. Я давно уже заметила такую склонность у женщин, близких к искусству.

Пока я всё это думала, вопрос Светланы Ивановны так и висел неотвеченный в воздухе. Опомнившись, я кивнула, и вдруг лысоватый человек с подозрительно красными щеками потряс в мою сторону рукой и крикнул:

– Маша! Вот она – Маша!

Я испуганно обернулась, но увидела за собою только дверь, белую и обыкновенную.

– Да вы садитесь, садитесь, – смягчилась вечно юная Светлана Ивановна, она убрала со стула круглую банку из-под киноплёнки, в которой лежало штук четыреста разных окурков.

Я села. Банку поставили мне под ноги, так что прямо в нос теперь летел удушающий запах.

– Нельзя это... убрать?

– А вы что, не курите? – осуждающе спросила Светлана Ивановна и затянулась щеками.

– Курю, но не люблю нюхать чужие окурки.

– Какой голос! Глубина! Маша! – снова вмешался Краснощекий. Я поняла, что «Маша» – это у него такое слово-паразит, типа «это самое» или «понимаешь». И еще я увидела, что под столом, скрываемая ногами остальных киношников, стоит большая бутылка с красно-черной этикеткой и прозрачным, в тон стеклянным стенкам, напитком.

– Как вас зовут? – спросила Светлана Ивановна.

– Лена.

– Маша! – обиженно поправил Краснощекий. – Я ее беру на роль без всяких согласований и проб. Идеальная Маша.

Вот оно что – *мою героиню* зовут Маша.

– Покурите, пожалуйста, – предложил сидевший до этого тихо мужчина с пегими волосами.

– Да я не хочу пока, спасибо.

– Ваша героиня много курит по ходу фильма. Нам надо посмотреть, *как* вы это делаете.

Я покорно достала из сумки пачку сигарет «Конгресс» и спички. Прикурила, затянулась и выпустила дым в пегого заказчика. Он радостно улыбнулся, видимо, я курила в точности как и полагалось пресловутой Маше.

Потом оказалось, что Пегий – это автор сценария, Краснощекий – режиссер, тот самый Безматерных Вэ Фэ, а Светлана Ивановна – директор фильма «Удивительный клад». Мне всё это рассказал помреж Олег – единственный более-менее нормальный человек из этого авторского коллектива. Олег угостил меня чашкой кофе в местном баре, дал с собой светло-коричневую книжечку и сказал:

– Сценарий! Почитай на досуге.

Таким тоном сказал, будто у меня теперь весь досуг будет посвящен мыслям о съемках в фильме «Удивительный клад». Я попрощалась и пошла на

трамвайную остановку – надо было рассказать всё Мокроусовой.

Мы договорились встретиться в пиццерии – это была первая пиццерия в Свердловске, а раньше здесь располагался какой-то ресторан из вечно закрытых. Теперь тут сделали зеркальные стены, повесили на потолок уродливые золоченые светильники, на которые было больно смотреть (в прямом смысле «больно» – глаза начинали надуваться, а сосуды – лопаться), и стали продавать мелкие, плохо пропеченные пиццы с колбасой, с курицей или еще с грибами – черными и липкими, будто гудрон. Тесто тоже прилипало к зубам, но у нас не было выбора. Я же говорю, это была первая пиццерия в Свердловске, и мы припадали к дурманящим очагам цивилизации.

Мокроусова уже сидела за пластмассовым, неровно стоящим столиком и жадно кусала истекающее соками тело пиццы. Куриные лохмотья она съедала, а луковые кольца складывала брезгливо на край тарелки – и в этом наши вкусы сходились.

– Я тебе уже взяла пиццу. С курицей.

– Ой, спасибо, Вера, это так мило с твоей стороны!

– Ну, как сходила?

– Утвердили, – скромно ответила я, разрезая пиццу на дольки.

– Да ты что? – поразились Мокроусова. – И будут снимать? А про что? И кого ты будешь играть? Проститутку?

– Почему это проститутку? – обиделась я. – Что, мне уже ничего другого нельзя доверить?

– Да нет, – успокоила меня Вера, – просто сейчас все фильмы снимают о тяжелом хлебе проститутки, вот я и подумала...

Некоторое время мы молча жевали. Потом я вспомнила:

– У меня же есть сценарий! Сейчас читаем...

Мокроусова уселась поудобнее, а я достала из сумки коричневую книжицу. В пиццерии было полным-полно народу, но все занимались обедом, и никто не обращал на нас внимания.

– Темно. Огромный ларец из позеленевшего металла открывается – и камера выхватывает блестящие нити бус, золотые слитки, неограниченные камни и ювелирные украшения, – выразительно читала я, – старческая рука тянется к сокровищам заскорузлыми пальцами. Внезапно раздается отвратительный хохот... кстати, Мокроусова, ты помнишь, что я умею отвратительно хохотать? Где бы вот еще разжиться заскорузлыми пальцами... Раздается отвратительный хохот, и на экране появляется светящаяся кровавая надпись:

УДИВИТЕЛЬНЫЙ КЛАД

Я сделала паузу и почувствовала, что вокруг воцарилась полная тишина. Клиенты пиццерии явно ждали продолжения.

– А ты там где появляешься? И как там тебя зовут? – вмешалась Вера.

– Зовут меня Маша, – представилась я, слегка краснея под взглядом молодого человека, покидающего соседний столик, – и появляюсь я... дай взглянуть... на девятой странице. Вот... Первая реплика Маши: «Витечка, Витя, не надо так со мной!» В скобках она падает на колени и ползет за уходящим Виктором.

– Я же говорю, проститутка, – обрадовалась Мокроусова.

Всё-таки иногда Вера бывает совершенно невыносимой. Но, если честно, в чём-то она была абсолютно права: по мере углубления в сценарий выяснилось, что Маша ведет себя совершенно непотребно. Сначала она таскалась за героем – кладоискателем Виктором и домогалась его откровенно. Потом Маша и вовсе обнаглела – явилась самолично в экспедицию, которая разыскивала старинный клад, закопанный в уральских степях не кем-нибудь, а Пугачевым. Действие будущего фильма развивалось как-то чересчур быстро – поиски и нахождение клада, появление бандитов в камуфляжных штанах и, финалом, совершенно конан-дойлевское утопание ларца в мутных водах реки Чусовой при параллельном обретении Машей нехитрого счастья в объятиях такого же нехитрого, судя по репликам, героя.

– Знаешь, Вера, – сказала я, ощущая, как пицца комками скользит по пищеводу, – наверное, зря я во всё это вляпалась.

– А тебе дадут гонорар? – спросила практичная Мокроусова.

Нам катастрофически не хватало денег. Бюджет у нас с Верой был общим, занятым-перезанятым, но мы постоянно позволяли себе излишества: сигареты «Конгресс», белое вино и наряды, которые нам мастерила еще одна одноклассница – пресловутая Мурдер. Источников поступления было гораздо меньше: стипендия сорок рублей и случайные приработки. У родителей мы денег не брали – нечего было брать.

Гонорар за роль в фильме – цветном, ширококвадратном, как сказала Мокроусова, – должен бы залатать наши прорехи...

В приятных мыслях мы добрали пешком до кафе «Малахит», выпили там бутылку шампанского и потом побрели домой, перекуривая на каждой скамейке.

Наутро я, как всегда, стояла на троллейбусной остановке в девять утра и ждала, когда из-за деревьев покажется синяя кофточка Мокроусовой. В одежде Вера проявляла себя скудно – по причине всё той же безденежности, и эта самая кофточка – синяя в поперечную черную полоску – до сих пор неразрывно связана у меня с Верой и с нашей совместной юностью.

Экзамен был назначен на десять часов – у меня, и на десять пятнадцать – у Веры, она сдавала русскую литературу.

Я нервничала. На остановку приходили какие-то другие девицы, запрыгивали в троллейбусы, и те медленными динозаврами отправлялись в путь. Потеряв последнее терпение, я зашагала к скромной пятиэтажке, где проживала Мокроусова с папой, мамой и собакой Рэнейсенс, которую я неуважительно называла Ренькой.

Ренька залаяла, услышав мой звонок, а потом заскулила. Дверь открыл мокроусовский папа в майке и шлепанцах. Из комнаты неслись позывные американского сериала, который в то время смотрели даже самые интеллигентные люди.

– А Верку в больницу увезли на «скорой», – сообщил мне папа, пытаясь воздействовать тапком на невоздержанную в эмоциях Ренейсенс. – Сказали, сальмонеллез. Отравилась она, значит, курицей.

Тут Ренейсенс всё-таки прорвала папину осаду и рванулась ко мне с приветствиями, так что он хлопнул дверью перед моим носом, успев прокричать номер палаты, где мучилась кишечным заболеванием Мокроусова.

Преподавательница по зарубе мне очень нравилась. Звали ее, правда, непросто – Лионелла Сергеевна, но во всем остальном она была совершенно замечательным человеком. У Лионеллы Сергеев-

ны были глаза как жареные каштаны и чувство юмора, как я люблю. Обычно мои шутки никто, кроме Мокроусовой, не понимал, а вот Лионелла Сергеевна понимала.

Я взяла билет и задумчиво уселась за парту. В голове почему-то мелькали слова: «Витя, Витечка, не надо со мной так!» И еще одно зловещее слово стучало в виски когтями: «курица». Витечка-то понятно откуда взялся – это из роли, а вот при чём тут курица?..

Экзаменационный билет просил меня рассказать о «Буре» и объяснить доходчиво, что такое сегидильи. В принципе, можно было обойтись и без подготовки. Лионелла Сергеевна с улыбкой выслушала мой ответ, сказала:

– Лена, ты, как всегда, торопишься! Надо было еще поготовиться.

Написала мне в зачетке «четыре», и я выскочила из аудитории с бьющимся сердцем.

Курица! Курица с пиццей! То есть, тьфу ты, пицца с курицей! Мы с Веркой вместе ели этих пиццекуриц, и теперь у меня тоже будет сальмонеллез!

В подтверждение живот мой начал гудеть и выделять какие-то сложные внутренние кульбиты. Боль росла, собиралась в шар, потом мягко разлеталась по всему телу. Я присела на ступеньку и оперлась о стену, чтобы не упасть.

Тут из аудитории вышла Лионелла Сергеевна покурить, увидела меня и говорит:

– Лена, неужели ты так расстроилась из-за четверки? Ну-ну, в следующий раз будет пять!

Я хотела сказать, что дело совершенно не в этом, но мои губы смогли прошептать только одно слово – «курица», после чего не помнится уже ничего совершенно.

– Это ж надо, какой приступ! – радостно сказал мужчина в несвежем белом халате: от него явственно пахло докторской колбасой.

Я открыла глаза и посмотрела на мужчину бессмысленным взором.

– Привет, красавица! – у этого Айболита было очень хорошее настроение.

– Куда едем? – слабо прошептала я, потому что мы находились в машине.

– В инфекционку, милая моя. Отравилась ты, похоже, – пропел веселый Айболит.

– Как это вы узнали, – поежилась я, – что, я какие-то неприличные действия совершала?

Айболит расхохотался, и до меня донесся новый шквал колбасного аромата.

Чуть позже за сознанием ко мне вернулась боль. Живот просто распирало на части – будто какой-то маленький изверг залез в кишки и теперь крутит из них петли.

«Скорая» резко затормозила, и меня вырвало.

Лето в больнице – самое несправедливое, что есть на свете. За окном на трех октавах пели птички, сол-

нечные лучи гуляли по зеленой траве, а я лежала на жесткой простыне с рисунком: цветочки и мелкие буквы «минздрав, минздрав, минздрав»... Докторша сказала, что меня здесь продержат минимум две недели, ведь у меня сальмонеллез группы «Д» – отравление плохо обработанным куриным мясом, содержащим сальмонеллы. В первый день прибытия на «скорой» мне вкололи пять совершенно разных уколов, еще дали полгорсти таблеток, и я уснула. У меня, кстати, отобрали всю одежду, выдав здешний халатик – изношенный ситчик дегенеративной расцветки и марлевый пояс. Хороша я была просто сказочно.

Мама прибежала сразу же после звонка Лионеллы Сергеевны.

– Вот, – укоризненно грозила она мне в окно, – вот до чего доводит бессистемное питание! Да еще в общепите!

Она сердилась, но я видела, что у нее глаза заплаканные. Я попросила ее принести мне сценарий «Удивительного клада» и Гофмана.

Только к вечеру я немного пришла в себя и вспомнила, что Верка тоже должна лежать где-то здесь, с таким же сальмонеллезом! Сначала я обвела тусклым взглядом сопалатниц – ни одна из них не только не была Верой, но и ничем ее не напоминала. Потом я вышла в коридор и начала заглядывать в палаты. Надо сказать, что в инфекционном отделении не было никакого разделения по поло-

вому признаку, и женские палаты чередовались с мужскими. Верки не нашлось ни в тех, ни в других, зато я, благополучно миновав пустой сестринский пост с грустно горящей настольной лампочкой, вышла к телефону-автомату.

У меня не было подходящей монетки, но я, как любая свердловская девчонка, умела вовремя стукнуть трубкой по аппарату, чтобы свершилось бесплатное соединение.

– Привет, сальмонелла!

– Сама сальмонелла, – обиделась Вера, – у меня не подтвердилось. Просто поджелудка возмутилась – так бывает. Чего не приходишь? Как экзамен? Я тебе звоню-звоню целый вечер, а тебя всё нет и нет...

– Вера, расслабьтесь, это у меня сальмонеллез. Группы «Д». Меня в инфекционку на «скорой» привезли!

– Вот это да! – восхитилась Мокроусова. – Идеальный круг времени. Ты идешь по моим следам и дышишь буквально в спину. Я завтра тебя навещу. Всенепременно. Какой у тебя номер палаты?

Тут я должна признаться в одном обстоятельстве, которое сильно смущало меня в те времена. Дело в том, что Мокроусова Вера гораздо красивее меня. Честно говоря, она гораздо красивее почти всех девушек и женщин фертильного возраста, с которыми мне приходилось встречаться. Иногда хотелось придраться к Вере, поискать у нее какие-

нибудь недостатки – но вот незадача, не получилось. Зубы у Веры были неуральски белые и ровные, брови – длинные и густые, глаза яркие и звездные, в общем, сплошное расстройство. Как правило, девушки такой красоты редко бывают умными, и это как-то утешает, но в случае Мокросовой Веры правило не работало категорически. Забыла! У нее еще и фигура была просто потрясающая: такую фигуру невозможно было испортить даже скромными нарядами, характерными для Веры того периода.

Дружить с такой девицей очень непросто, хотя я, конечно, тоже не на помойке валялась.

Мама моя часто вздыхала:

– Ну зачем, зачем тебе дружить именно с Верой? Ни один мужчина на тебя даже и не посмотрит, если ты со своей Верой так и будешь ходить под ручку! Он на Веру будет смотреть!

Что я могла ей ответить?

Под вечер в палате стало совсем кисло. Из шести коек три были заняты совершенно ненавистным мне типом девушек, который мы с Мокросовой называли «ПТУ». Так подобралось – одна вязала и материлась, когда случайно спускала петлю, другая щелкала семечки (в инфекционке!) и сплевывала шелуху в окно, а третья... третья была самым кошмарным образчиком, она беспрестанно общалась с теми двумя и пыталась задавать вопросы мне. Я отвечала до краткости грубо, но пэтэуш-

ница не успокаивалась. Через день я знала о ней всё, даже самые мельчайшие подробности ее полуживотного существования. К ним ко всем по очереди приходили какие-то парубки с орущими на сельский лад магнитофонами в руках, и они радостно орали моим соседкам в окно:

– Ну ты че? Че ты в натуре? Ты когда это самое?

А соседки красили губы одной на всех помадой – розовой, как вареная колбаса...

О господи, как меня всё это бесило! Я себя просто каким-то ссыльным графом чувствовала в этом рассаднике инфекций и воинствующего примитивизма. Мокроусова приходила ко мне каждый день, как на работу, – и сострадала в окно. Меня не выпускали на улицу, да и в палату было не пролезть. Книги Мокроусова закидывала тоже через это окно, и пэтэушницы спрашивали:

– Че, заставляют читать стока?

«О, дайте, дайте мне свободы», – князем Игорем думала я, за окном пахло сиренью, но меня никто и не думал выписывать. Под капельницей, на четвертый или пятый день, мне пришла в голову шальная мысль позвонить на киностудию, но телефон тамошний не отвечал. Тогда я написала записку Безматерных В.Ф., где кратко сообщила о своих неприятностях.

Мокроусова ловко поймала записку в окно и обещала отвезти ее назавтра же. А я вновь погрузилась в обрыдший сценарий – честное слово, еще

ничего глупее в своей жизни не читала. В перерывах между чтением обезболивалась Тэффи и Гофманом.

– Маринку выписали, – сообщила мне вязальщица как-то между делом, – а нас с Наташкой завтра.

«О, – мысленно возликовала я, – Господь услышал мою молитву». Ночь прошла спокойно.

Утренняя Мокроусова явно деликатничала, опасаясь сообщить неприятную новость.

– Они уже начали съемки. В главной роли какая-то дура из Москвы. Хуже если и можно, то не намного. Я ее видела – это полный кошмар. Даже не стала отдавать твою записку – зачем унижаться перед убогими? Пусть сами ползут за удивительным кладом.

– Я лучше, чем она?

– Ты вообще *самая лучшая*, – убедительно сказала Мокроусова.

Погода, как нарочно, назло, разгулялась, с утра меня будили птичьи голоса за окном, и только потом уже доносились лязганья склянок-банок из коридора и громкий вопль Ларисы Константиновны:

– Кушать! Завтракать!

Зачем делать такие ранние завтраки, я ума не приложу. Так бы спала себе и спала – хоть до обеда, но нет: надо вставать, идти в столовую, есть жирной алюминиевой ложкой кашу, единственное

достоинство которой в том, что она, каша, горячая... Потом чай из мутного стакана, редкие черные ошметки уныло оседают на дно. И больше ничего нельзя – диета.

У всех, кто сидит за соседними со мною столиками, понос или рвота. Эти мысли очень веселили меня, когда пэтэушницы еще до выписки завели «любовь» с соседней мужской палатой. Они обнимались и курлыкали попарно, а я лежала скорбная, как в гробу, в своей койке, стараясь не замечать ничего вокруг – я уходила в Гофмана и закрывала за собой дверь, оставляя за ней последние мысли: «Господи, ведь у них у всех понос! Какой ужас – обнимать человека и знать, что он может сейчас сорваться с места и с дикими круглыми глазами помчаться в туалетную комнату, где мощно пахнет хлоркой... И потом выстреливать из себя порциями зловонную жижу, а после мыть руки без мыла и снова целоваться, сидя на пружинной койке!»

Вот такие примерно были у меня мысли. Палата, между тем, осталась в моем единоличном распоряжении – новых больных не подселяли, хотя Мокроусова мрачно предсказывала какую-нибудь вредную бабку. Мне разрешили добавлять сахар в чай, это было заметным послаблением в диете.

Сахар-то и стал причиной. Началом конца.

– Лен, у тебя сахар есть? – спросила Лариса Константиновна, просунув в дверь давно не кра-

шенную голову. Я теперь считалась в отделении за старожилку, и мне на основании этого был позволен душ на первом этаже. Так что у меня были чистые волосы, и мысли под ними текли как-то веселее. Да, и халатик мне Лариса Константиновна подыскала блатной: совсем без черных штампов, с одуванчиками.

– Одуванчики мои, – старательно шутила Мокроусова.

Так вот, сахар.

– Ну разумеется, у меня есть сахар, а зачем он вам, Лариса Константиновна?

Вопрос, если задуматься, абсолютно идиотский. Но я была сильно обезвожена и потому старалась не напрягать мозги лишний раз.

– Ты понимаешь, у нас тут такое! – медсестра вздохнула и поправила съехавший чепчик. – Нам привезли, не поверишь, шведа. По-русски ни бумбум, ничего не ест, анализы не сдает, в общем, мы с ним намаялись! Вот хочу ему сахар в творог положить, может, покушает. Лен, а ты случайно по-английски не понимаешь?

– Понимаю, – сдержанно сказала я. У меня была спецколла в активе и сильная группа в универе.

– Ой, пойдём к нему сходим, а? Ты поговори с ним, чтобы ел. И мне еще надо кал у него попросить для копрологии. Пойдем, а?

Как будто я отказывалась.

Кал попросить у шведа!

...Он лежал под бело-серой, влажно-вонючей простынкой, и я сразу же подумала: Лариса Константиновна! Ну какой же он вам швед! Да он сто-процентный ирландец, ну вот точно!

Он лежал такой рыжий (но не апельсиново-рыжий, как у нас Орешников из параллельного класса был, и не темно-рыжий, как Верляева, с которой мы дрались все десять лет в школе: у нее волосы были, как оголенная проволока, толстые такие, будто она не в волосах, а в шапке ходит)... Он, швед этот, был рыжий, как утренние дюны, или карамель, или свежий песок, или мед липовый, в общем, не буду продолжать. Скажу лишь, что глаза к этому полагались джинсовые, синие-пресиние.

– Вот из ё нэйм? – спросила я, чувствуя за спиной уважение Ларисы Константиновны (еще она шепотом тянула: «Кал, кал!», чтобы я не забыла).

Швед встрепенулся:

– Патрик. Патрик О'Коннор.

Еще бы он был не ирландец! Да на нем просто написано это было.

– Айм Лена. А ю фром Даблин?

Для удобства Ларисы Константиновны я делала синхронный перевод, так что ограничусь им – для теперешнего удобства читателя.

– Да! Как здорово, что здесь хоть кто-то говорит по-английски! Пожалуйста, умоляю тебя, скажи, чтобы они перестали давать мне эту ужасную пищу!

– Но тебе ведь нужно что-нибудь есть.

Патрик отчаянно замотал головой.

– Лариса Константиновна, – обратилась я к медсестре, безмолвной кучей стоявшей за моей спиной, – я не могу сразу у человека просить кал, мы ведь только что познакомились. И честно говоря, я не знаю, как будет «кал» на английском, мне известно гораздо менее подходящее случаю слово «дерьмо». Поэтому я постараюсь сблизиться с нашим гостем – он, кстати, не швед, а ирландец, потому что Дублин находится в Ирландии, вечером выясню у подружки всё про слово «кал» и обязательно попрошу у Патрика порцию, хотя мне не очень удобно.

– Ну, мы же в больнице, – рассудительно заметила Лариса Константиновна и, в целом довольная, ушла.

Я осталась. Патрик предложил мне усесться в ногах и начал рассказывать свою печальную историю. Она потрясала чудовищной несправедливостью. Оказывается, Патрик в Свердловске уже целых две недели. Он приехал к профессору-химику, работами которого давно восхищается вся прогрессивная Европа. Патрик, будучи аспирантом-химиком, получил счастливую возможность поработать в одной лабораторной компании с профессором. Две недели они вели какие-то сложные исследования и ставили опыты. Я не могу тут воспроизвести, что именно они исследовали, потому

что из химии помню только ЦэОдва и АшдваЭсО-четыре. Но это абсолютно неважно, потому что составляющая нашего разговора была не химической, а совершенно лирической, потому что я чувствовала, как с каждым словом влюбляюсь в бедного Патрика. О, бедный Патрик! Вероломные друзья из молодой, околопрофессорской поросли заманили его в ресторан «Пельмени», где ирландец вкусил от наших пельменей и немедленно слег с тяжелейшим поносом. Вопреки стараниям профессорской жены, пытающейся выпить иностранного гостя минеральной водой, ночью пришлось вызвать ему «скорую помощь», врачи которой, не сильно разбираясь в национальных корнях Патрика, немедленно отвезли его в инфекционку с острым кишечным отравлением.

– И теперь, – грустно сказал Патрик, – мне придется лежать здесь целую неделю, это минимум. Профессору же надо ехать в Москву через три дня, и у меня пропадают билеты.

– Ну, Патрик, – сказала я, – здоровье-то ведь у тебя одно, а билеты можно купить новые.

– Так-то оно так, Лена, но обидно просто до ужаса! И еще эти странные женщины ходят за мной по пятам и просят от меня что-то неприличное.

Я покраснела.

– Они, как бы тебе сказать, они просят, чтобы ты... сделал им анализ.

– Химический? – обрадовался Патрик.

– Не совсем, анализ они будут делать из твоего... ну, когда ты ешь, потом через некоторое время идешь в туалет, и вот им нужно твое... извини, пожалуйста, дерьмо.

Патрик холодно замолчал, а потом расхохотался. Господи, какие у него были зубы – они даже сверкали, честное слово!

– Зачем им мое дерьмо? – всё еще смеясь, спросил Патрик. – На память, что ли? – Он, видимо, уже привык к некоторому преклонению, с которым в те годы смотрели в Свердловске на иностранцев.

– Да для анализа, как ты не понимаешь!

– Не понимаю, – честно сказал Патрик. – Это каменный век какой-то, и это очень негигиенично! У нас берут анализы сразу из прямой кишки – так намного удобнее.

– Патрик, ну в конце концов, ты ведь в России, – не унималась я, – так что лечить тебя будут по-русски.

– Хорошо, – оскорбился Патрик, – я сделаю, как ты говоришь, хотя это просто ужасно! Омерзительно, вашу мать!

И мы уже вместе расхохотались.

Его навещали гораздо чаще, чем меня. Каждый час под окном раздавались визгливые девичьи крики, юношеские баритончики и – редко – тяжелый бас профессора. Профессор, впрочем, скоро

уехал, как и обещалось. Девиц тоже поубавилось – ирландец был с ними не слишком любезен.

– Глупые курицы, – жаловался он мне, – думаю, что я их повезу с собой в Дублин. Я не могу всех повезти с собой в Дублин, хотя некоторых мне бы хотелось видеть у себя в гостях.

И этот пронзительный джинсовый взгляд...

Меня должны были выписать со дня на день, лето совершенно раскочегарилось, и лежать в духлой палате не было сил – но я совершенно не страдала, мы с Патриком расходились поздно вечером, и рано утром он уже снова сидел у меня в палате...

Я даже почти забыла о Мокроусовой, хотя это, конечно, было некрасиво с моей стороны. Однажды Вера так громко кричала у меня под окнами: «Ленка!», что я услышала ее, будучи в гостях у Патрика. Я высунулась в его окно с наклеенными пластырем цифрами 213.

– Я здесь, Вер!

– Тебя перевели? – Мокроусова шагала по высокой траве и обиженно глядела на меня из-под челки. В руке у нее был пакетик с маминым творогом. Мне стало стыдно.

– Нет, просто я... У меня тут появился приятель... Патрик, иди сюда. Я тебя хочу познакомиться.

Патрик любезно высунулся по пояс, и Мокроусова побледнела.

Через месяц мы трое стояли в аэропорту и провожали Патрика О'Коннора в далекую Ирландию. Сначала он летел в Москву, а уже оттуда – в Дублин. Патрика провожали не только мы с Веркой – пришла целая куча народу, профессор с женой, обломавшиеся девицы, еще какие-то странные персонажи, но Патрик особенно выделял нас с Веркой. Не считая профессора, конечно.

Потом – совершенно неожиданно – начался очередной курс учебы, а вместе с ним и осень. Мы с Мокроусовой курили в туалете между парами, и однажды она спросила, бросая окурок в унитаз:

– У тебя сколько писем?

– Писем? – деланно удивилась я.

– Ты прекрасно понимаешь, о чём я, – серьезно сказала Мокроусова. – От Патрика у тебя сколько писем?

– Одно.

Мокроусова порозовела и отвернулась к окну.

Письмо Патрика я носила в своем рюкзаке до зимы. Оно было довольно забавным и неисправимо дружеским. К зиме пришла рождественская открытка с музыкой «Джингл беллз», она играла, когда я открывала и закрывала открытку, что продолжалось примерно сто пятьдесят раз, и мама сказала, что это невыносимо. Мы с Верой старались не говорить о Патрике – и делали вид, что так и надо. Будто всё по-прежнему. Казалось бы.

В марте мне пришло еще одно письмо – с местным штемпелем. Съёмочная группа фильма «Удивительный клад» с глубоким удовлетворением сообщила о завершении работы над фильмом и с удовольствием звала меня (плюс одного человека) на премьерный показ в Дом кино. На этом Доме кино приделана статуя женщины, и мы с Мокроусовой называем его поэтому «Дом женщины». А рядом с Домом кино – еще один Дом, но уже обуви. К нему ничего не приделано, но мы называли его Дом Боуи.

Мы пришли с Верой в ажурных блузках и коротких юбках, я до сих пор точно не уверена, кто из нас кому подражал – но у нас почему-то всегда были похожие вещи. Вокруг носились душистые вихри, бегала принарядившаяся Светлана Ивановна в чём-то елочно-блестящем, и Мокроусова сказала, что Светлане Ивановне, судя по всему, очень не повезло в жизни, и я промолчала, хотя мне хотелось затеять вялый спор. Краснощекий Безматерных В.Ф. торопливо вливал в себя коньяк в буфете и на глазах становился похож на недавно смещенного премьер-министра.

Наконец всех согнали в зал, приглушили свет и выгнали на сцену актеров и обслуживающий персонал. Я сразу узнала свою «Машу» – она была самой молодой из всех актеров и с самой глупой рожей. По очереди актеры благодарили режиссера, оператора, зрителей и маму с папой, что делало

весь этот перформанс удивительно похожим на церемонию вручения «Оскара», которую с недавних пор начали транслировать по телевидению. К счастью, никаких призов им не вручали, просто дали выговориться (всех превзошла Светлана Ивановна, бросившаяся вытаскивать на сцену какого-то вспотевшего от скромности паренька-техника и потерявшая по дороге туфлю, так что Пегий помчался за ней следом и церемонно подал обувку новоявленной Золушке) и потом погрузились в полную темноту, шторы с шелестом открылись, начался премьерный показ.

...Отвратительный хохот, ларец из позеленевшего металла, судорожная старческая рука – такое ощущение, что режиссер даже и не пытался добавить в сценарий каких-то новых деталей, действие развивалось с той же напыщенной глупостью, как и на бумаге. Мокроусова вздыхала и морщилась в соседнем кресле, а я будто ослепла – за неумелой игрой и дешевыми кадрами мне виделись прошлогодняя безоблачность и недолгое больничное счастье... На экране моя несбывшаяся героиня ползла в грязи за каким-то нелепейшим субъектом, лепеча въевшиеся в кровь реплики:

– Витечка, Витя, не надо со мной так!

Мокроусова почти рыдала от смеха и шепотом поздравляла меня с чудесным избавлением от позора. Финальным кадром показали свежевыкопанное пугачевское подземелье, в котором беззастен-

чиво красовался электрический самовар с пяточком розетки...

Аплодисменты раздались сразу же по завершении финальных титров, пролетевших по экрану стремительно, на голливудский манер. Кто-то вполне искренне кричал «браво!». На освещенную сцену поднялся всё тот же составчик, и мы с Мокроусовой встали, чтобы уйти.

Между нами всё было по-прежнему, мы так же понимали друг друга с полувзгляда, но теперь появилось и нечто новое: длинные паузы в разговорах, длинные конверты с зелеными марками, которые лежали во всех Веркиных тетрадках, закрытые двери после длинных междугородных звонков, полосовавших мое сердце в кровавые жгуты... Осенью она уехала «в гости» и в обещанный срок не вернулась. Родители говорили что-то маловразумительное, они сами будто не верили, что их Вера теперь будет жить в чужой стране непонятно на каких правах, я гладила постаревшую, сразу начавшую пахнуть псиной Рэнейсенс; пожалуй, только Рэнейсенс тосковала так же сильно, как я.

Наконец пришло письмо. Мокроусова писала хлестко и весело, как обычно. Патрик предложил замуж, ей пришлось согласиться, потому что она влюблена в него и еще влюбилась в Дублин. Они ходят в пабы, и местная пьянь просит разрешения сфотографироваться с Верой на память – так

День Патрика

убийственно действует ее красота. Это она шутила в письме, но я-то понимала, что именно так всё и обстоит на самом деле. Письма лились на меня потоком, я будто стояла под душем из конвертов, из них падали яркие кодаковские снимки: Вера и Патрик, Патрик и Вера, красивая пара – лучше не придумаешь...

Последнее письмо пришло в феврале, подписанное уже Вера О'Коннор. *Vera* признавалась, что и представить себе не могла, что ее свадьба обойдется без меня, но они торопились, потому что скоро придется переезжать в другой город, где у Патрика будет новая работа-учеба, а Веру возьмут доучиваться в институт... Родственники у Патрика очень милые, а друзья – из ирландских цыган, если бы ты видела, Ленка, в каких платьях их девочки явились на свадьбу, это что-то с чем-то! Свадьбу играли прямо на День святого Патрика – хорошая примета, ведь это самый главный ирландский праздник. В этот день вся Ирландия обряжается в зеленый цвет и даже пиво пьет – немисливо! – зеленого цвета.

Да, Ленка, обязательно пиши на конверте *Eire*, а не *Ireland*. *Eire* – корректнее.

На войне

– Выступает Таня Царева, пятнадцать лет, «Дэнс-Хаус»!

И все такие:

– Йоу!

И Таня такая – кач снизу! Так-то она супер, это все признают, даже Няша Абрикос. У Няши на ноге тату – обвивает бедро, спускается к коленке. Портрет погибшего диджея, дорожка, иероглиф и купол екатеринбургского цирка. Няша – гоу-гоу. Ноги блестят от масла, на груди – шрамы в виде бабочек. Делала скальпелем, говорит, ни фига не больно. Шрамы прикольные – подрагивают, переливаются.

Таня мечтает, грызет ручку – во рту вкус пластмассы и чернил. На месте сидеть невозможно. А вокруг все такие – типа пишат. Таня вскакивает, кидает на стол Ю-Ю контрольную и тупо выбегает из класса.

– Царева! Вернись! – кричит в дверь Ю-Ю. – Ты опять не проверила работу! Обстоятельства надо было выделить и сделать фонетический разбор!

– Юлия Юрьевна, у меня весна началась!

– Она у тебя еще с того года не закончилась, – ворчит учительница, закрывая дверь. – Продолжаем работать, Мартин Зайцев!

Большой толстый Мартин грустно вздыхает.

Бывший советский ДК с белыми «партийными» шторами, над сценой золотые буквы «Искусство принадлежит народу».

Молодой тренер в желтой майке «строит» группу танцоров, они стоят к нему лицом, кругом, поддерживая руками спины. Все в черном – как в трауре.

– Вы сами не понимаете, не чувствуете, что должны выразить. Бесполезно, пока вы не отпустите себя, свои эмоции на волю. Царева, я к тебе обращаюсь! Лицо, лицо надо менять!

Лиза Семенова прыскает, закрывает рот ладонью.

– Семенова, попей водички! – предлагает тренер. – Ладно, всё! Дружно выходим на финальный трек, и давайте сделаем горячо!

Они делают – весь «Дэнс-Хаус» выкладывается и потом воняет потом, как в конюшне. Ударения ставьте сами. На сцене гоу-гоу – и впереди всех Няша Абрикос в микрошортах, чулках, в майке-сеточке. Никто не даст ей шестнадцать лет. Няша – суперсекси. А ей именно шестнадцать. В среду она выступала перед ветеранами, в госпитале – и ветераны остались недовольны. Даже жаловались, го-

ворили, лучше бы прислали ансамбль бальных танцев.

Гоу-гоу на сцене делают дерзкие «шейки» бедрами. У второй солистки в ушах громадные тоннели. Так-то она нормальная. Хотя на вид все – тупо ванильки.

Тренер громко кричит в микрофон:

– Сейчас мы с вами *прогоняем* детишечек и отпускаем их. Дети, на сцену!

Мелкие хип-хоперы бегут такие на сцену под одобрительный вой зала. Занимают места в кулисах.

– Тёма, ты палишься! – это опять тренер.

Тёма в кепке и широких штанах тупо отступает обратно за кулису, чтобы его не было видно зрителям.

Лиза забрала у маленького Тёмы айпад. Таня спит и видит сон. Ей даже музыка типа не мешает.

Тане снится зима, детский сад, подготовительная группа.

Дети шумят, кто-то плачет, все устали. Родители в сапогах и голубых бахилах поверх сапог сидят на детских стульчиках. У некоторых мамаш сапоги расстегнуты и лежат на полу голенищами.

Одна кричит:

– Мартин! Прекрати сейчас же, *вылазий* оттуда! Я кому сказала, Мартин?

Мартин с громадной зеленой соплей в носу выглядывает из-под стула. На нем бархатный пиджачок с налипшим мусором.

Восторженная воспитка выходит в центр зала, украшенного самодельными плакатами «Маленькая мисс Детский сад», «Конкурс красоты–2002» и так далее.

– Дорогие наши мамы и Танин папа!

Папа сидит на стульчике, вжавшись в угол. У него борода и рокерская майка с чьей-то оскаленной рожей.

Маленькая Таня в голубом платье кричит из-за «кулис»:

– Это не папа! Я же говорила вам, Наталья Ивановна. Это Лева, он приходит к маме в гости! А у мамы сейчас – клиенты!

Родительницы переглядываются. Мама Мартина прижимает к себе сопливое бархатное сокровище, как будто Лева может его забрать. Мартин вырывается, тут же ныряет обратно под стул.

Лева смущается, краснеет, а воспитка смотрит в программку, будто там написано, что говорить в таких случаях.

– Ираида! – громко шепчет другая родительница, в простом, но очень дорогом платье. Эта мама выглядит как певица – она и есть певица, артистка из оперного театра. Ольга Борисовна Бирюкова-Герман, прославилась в партии Анны Болейн. – Подойди сюда!

Ира послушно бежит к маме – у нее розовое платье, розовые щечки. Такая кукляшечка! Даже Мартин вдруг забывает о жизни под стулом, и вылезает оттуда, и с громким свистом втягивает свою соплю.

Певица с застывшим на лице выражением безгливой вежливости протягивает Мартину бумажную салфетку. Он ее не видит, не сводит глаз с Иры – пока мама расправляет на платье какие-то только ей заметные складочки.

– Итак, – приходит в себя воспитательница. – Мы начинаем наш конкурс красоты «Мисс Детский сад!» Представляю вам участниц. Лиза Семенова!

Девочка ростом выше других выходит вперед, смешно, по-взрослому, виляя бедрами.

– Аня Королькова! Полина Ломаева! Татьяна Царева!

Таня выходит вперед, и тут Лева громко хлопает и показывает «козу». Полина Ломаева громко плачет от страха.

Мартину кажется, что Лева похож на жуткого Володю Морта из книги про Гарри Поттера. Или на Ивана Хельсинки, истребителя вампиров. А еще – на Жирафа Депардье в роли Обеликса и на русского царя Ивана Грустного с картины «Иван Грустный убивает своего сына». Мартин много читает, и мама его всесторонне развивает. Любимая картина Мартина называется «Баранина

Морозова». Любимая скульптура – черный Кинг-Конг на корабле, в Москве. И Леву Мартин бояться не будет, мама рядом, она его не отдаст.

– Ираида Герман!

Ира встает рядом с Таней. Она даже лучше мамы и царевны лебеда, отчаянно понимает Мартин.

– В нашем жури сегодня, – гордится воспитка, – директор детского сада Анелия Петровна!

Это дородная тетя с химией. На верхних зубах – следы алой помады, будто Анелия Петровна недавно испила свежей крови трудового народа. А верхняя губа у нее фигурной формы, как усы у мужчин из двадцатых годов. Об этом думает не Мартин, а Лева – ясно же, что маленькому мальчику такие мысли не по размеру.

– Наш технический работник Лилия Сергеевна!

Застенчивая редкозубая старушка втайне злится на всех этих мисок недовыбранных. Ей надо еще столько всего сделать, а дома дед старый ждет, которого кормить и купать, как малое дите. Тут сиди, хлопай, потом бегай с ведром по лестницам, а дед дома один. Недавно упал и лежал, пока она не вернулась со смены. Но он ее в молодости уж как любил! Звал Лилюшонком. Неужто она его бросит?

– И наш любимый музыкальный работник Александра Игоревна!

Непоправимо интеллигентная женщина в бархатной блузе переживает сейчас свой звездный час.

– Поприветствуем!

Воспитка подражает ведущим сразу всех известных ей телешоу.

Конкурсы сменяют один другой. Когда девочки (не Ира, разумеется) поют, певица морщится, будто от больного зуба, а музыкальный работник взглядывает на нее с интеллигентной ненавистью. А еще они рассказывают стихи и пришивают пуговицы на скорость. Полина Ломаева показывает фокусы, Аня Королькова ходит колесом – трусишки мелькают, как лопасти у мельницы.

Жюри всерьез перешептывается, ставит карандашные отметки на листах бумаги.

– Наконец, наш финальный конкурс! Танцевальный! Каждая участница покажет нам, как она умеет двигаться в разных стилях под разную музыку!

Воспитка неловко приплясывает на месте, делает какие-то движения из далекой молодости. Вот работка тоже, сочувствует ей технический работник Лилюшонок. Но больше всего волнуется за деду. Из армии он писал ей: «Сирано тебя люблю, Лилюшонок».

Подружка Лилюшонка оканчивала институт на училку, потешалась, звала его «Всё равно де Бержерак». Завидовала, поняла вдруг Лилюшонок. Бедный Сирано – совсем один в пустой квартире. Даже тело больше не его, не слушается. А ведь такой был ловкий! «Ты не смотри, Лилюшонок, что

я маленького роста. Я знаешь какой ловкий!» Лежит ее Сирано и плачет. А мамы в лежачих сапогах аплодируют, раскачиваются на стульчиках.

Ира и Таня выходят вперед. Таня так вертится в танце, что Ире больно прилетает локтем в глаз. Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? Ира в этом не уверена.

Наконец, ура, музыка смолкает. Директриса еще раз шепчется с товарками, потом встает со своего места и, одернув на себе пиджак, начинает «лечить» участниц:

– Дорогие девочки! Вы все умницы, все красавицы, мы смотрели на вас и прямо любовались от всей души! Правда же, товарищи родители, вы согласны? Но всё же победительница должна быть только одна, и корону «Мисс Детский сад номер 444» заслуженно получает Ираида Герман!

Преданный взгляд директрисы в сторону мамы-певицы.

Мартин оглушительно хлопает. Освобожденный Лилюшонок мчится к выходу, к ведру, к Сирано.

Ира выходит вперед, потирая ушибленный глаз. Воспитка торжественно надевает ей на голову пластмассовую корону с криво приклеенными цветными стекляшками. Корона падает Ире на шею. Ира стоит, будто в ошейнике.

– Ты точно была лучше всех, – утешает Таню добрый Лева. И старается не смотреть на губы-усы

директрисы, они его пугают. Есть в них какая-то жуткая власть.

– Пока, Таня! – прощается коронованная Ира. – Если хочешь, я завтра принесу тебе корону. Ты сможешь ее поносить!

– Отвали! – кричит Таня. – Мне от тебя ничего не надо, Ира-жоподыра!

– Прекрасное воспитание, – говорит Ольга Борисовна Бирюкова-Герман. – Вы просто Песталоцци!

Лева мрачнеет. Кто бы ее, как говорится, спрашивал.

Прогон окончен, танцоры вытекают из зала черной рекой, как нефть из аварийной скважины. Уборщица заходит в зал, набрав побольше воздуха в легкие. «Хуже чем в больнице», – думает она на узбекском языке.

Таня прощается с Лизой, идет домой. Так-то ей еще уроки надо делать. Няша Абрикос впереди, кульная, вообще. Хоть и ванилька, как все гоу-гоу. Но у нее такие шрамы-бабочки. И цирк на ноге...

А вот у Иры Герман уроки давно сделаны, даже мегатупой проект по обществознанию. Ира открывает крышку старого пианино «Красный Октябрь». Вспоминает бабушкины рассказы – как это пианино стояло в деревенском доме у реки и каждую весну его вывозили на холм, чтобы не рассохлось. Пианино на холме – почти рояль

в кустах. На стене висит фотография – Ира в первом классе.

Первое сентября, дети стекаются в школу. У кого-то – розы в целлофане с блестками, у кого-то – астры, которые привезла бабушка с огорода.

Из переулка выходит Таня с гладиолусом. С ней мама-парикмахерша и милый Лева. У Тани взрослая прическа с локонами – мама постаралась. Милашка.

– Как куколка, правда, Лева?

Навстречу движется Ира Герман с мамой и папой, похожим на Ростроповича. У Иры в руках такой же гладиолус, а на голове – веночек из цветов, обидно напоминающий корону.

– Привет! – радуется Ира.

– Здравсте, – за всех говорит Лева.

Таня начинает рвать руками гладиолус. Выдирает бутончики из гнезд.

– Таня, ты сдурела? – пугается мама. Германы, к счастью, уже ушли.

Цветочные лохмотья летят в осеннюю лужу. И отражаются в воде так, что становятся похожи на корону на Таниной голове. Вот спасибо тебе, водичка!

Голый стебель девочка торжественно вручает маме и движется к школе, засунув руки в карманы плаща.

– Это хорошее начало нового года, – гремит торжественный голос из школьного громкоговорителя. – В добрый путь!

Нарядные первоклассники сидят за партами, руки у них холодные, сердца стучат где-то в горле. Родители ждут в коридоре, подглядывая в стеклянное окошко в двери.

– Моя сидит, как отличница, – хвалится одна мамаша.

– А как сидят отличницы? – ехидно интересуется папа-Ростропович.

Мама «отличницы» теряется, презрительно мериет его взглядом. Ростропович, как человеческая порядочность, не поддается измерениям.

– Мартин! – громко шепчет другая мамаша. – Поправь галстук!

Наш старый знакомый Мартин – на сей раз без сопли, но в элегантнейшем галстуке, съехавшем, впрочем, набок, – сидит прямо за Ирой и сверлит ее взглядом. Законную родительницу он, ясное дело, не слышит.

– Знаете, – доверчиво делится мама «отличницы» с мамой Тани, – я много раз замечала, если мне нравится ребенок, то и родители у него тоже хорошие. А если родители со странностями, то и дети у них какие-то не очень...

Танина мама смущенно кивает.

– У вас мальчик? – с надеждой спрашивает мама «отличницы».

– Девочка, – сияет Танина мама. – Танюшка. А у вас?

– И у меня девочка, – это звучит прохладнее. –
Маргарита Зуева.

В классе тем временем идет знакомство. Каждый, кто хочет, выходит к доске и рассказывает о себе:

– Меня зовут Ира Герман, мне семь лет, я занимаюсь классическим балетом и люблю читать.

Уши влюбленного Мартина пылают, как сушеные яблоки. Конечно, балет!

Ира проходит балетной походкой на место. Таня в соседнем ряду вздергивает голову.

Дети, выходящие к доске, невольно подражают Ире:

– Я Лиза Семенова, мне семь лет, я люблю кукол.

– Я Мартин Зайцев, мне семь лет, я занимаюсь йогой и люблю играть в приставку. Мой идеал – Билл Гейтс.

«Галстук!» – бессильно шепчет мама. Галстук всё так же лежит на плече.

– Меня зовут Маргарита Зуева, мне семь лет, я тоже занимаюсь танцами (взгляд в сторону Иры) и люблю читать.

– Мне надо в туалет! – поднимает руку Ира.

– По Большакова или по Малышева? – насмешливо спрашивает Таня. – А что? Лева всегда так говорит!

– Беги, Ирочка, – велит учительница.

Ира пулей проносится мимо родителей и через минуту уже снова сидит в классе.

– По Малышева, – громким шепотом свидетельствует Таня.

– ...Ну что? – весело спрашивает учительница. Она молодая, похожая на опрятную свинку. – Все рассказали о себе? А вы не хотите, Таня и... Ваня, да? Танечка и Ванечка в Африку бегом?

Класс смеется.

– Учительница, кажется, симпатичная, – вскользь замечает Ростропович и достаивается внимательного взгляда супруги.

Ваня вспыхивает от обиды за «Африку», но Таня – соседка по парте – молча кладет ладонь ему на руку.

– Мы не хотим ничего рассказывать! – говорит она. – Вы скоро сами всё узнаете!

– О! – удивляется учительница. – Как интересно! Ну, тогда я расскажу вам немного о себе. Меня зовут Альбина Сергеевна, мне двадцать восемь лет...

– Вы замужем? – прерывает ее Мартин, и Альбина прикусывает губу. От смеха или от обиды – непонятно.

– Так, дети, давайте посмотрим, что вы уже умеете делать!..

Таня сидит над алгеброй, вспоминает, что она умеет делать. Так-то много чего наберется. Олимпиады. Выставки рисунков. Школьная газета. Поздравление для ветеранов. Сбор игрушек для детдомов. Концерты и соревнования. Всюду две фа-

милии, две фотографии – Герман и Царева. Если у Иры первое место, то у Тани – второе. И наоборот. Ира-жоподыра.

Таня пишет Ване записку:

«Встретимся после уроков, там, где всегда? Есть дело!»

Ваня кивает.

Альбина в недовольстве:

– Иван, что за посторонние занятия? Ты-то не отличник, кажется? Ну-ка, иди к доске, поработай с картой.

Ваня идет к доске и не знает, бедный, как показать границы России. Ира подсказывает ему, и Таня шепчет со своей парты. Ваня переводит глаза с одной девочки на другую, Альбина отрывается от тетрадей:

– Ну что, опять двойка?

– Точно! – хохочет злая Маргарита. – Колязину сразу две подсказывают.

Ира вспыхивает, а Таня молча показывает Маргарите справный кулачок.

– Альбина Сергеевна, – жалуется противная Маргарита, – а че Царева меня стращает кулаками? Царева, я тебя на видео сниму и покажу твоей маме, как ты ведешь себя в школе!

– Покажи, – говорит Таня. – Я тебе тоже потом покажу кое-что. Кошмарики приснятся!

– Так! – теряет терпение учительница. – Все медленно сели и успокоились.

– Границы России, – вдруг включается Ваня, поднявший с пола Ирину записку с подсказкой, – проходят по естественным рубежам...

Таня и Ваня прячутся в закутке у лаборантской кабинета химии. Здесь никого, лишь издалека доносятся детские голоса и крики взрослых.

– Сколько? – спрашивает Ваня.

– Сто рублей.

Таня аккуратно кладет в ладонь мальчика сложенную в несколько раз купюру.

На следующий день Ваня подходит к Ире и со всей силы бьет ее по ногам портфелем. Портфель набит учебниками, украшен заклепками.

Учительница сообщает:

– Дети, напоминаю вам, что завтра утром мы идем в детскую балетную школу, где солирует наша гордость и одноклассница – Ира Герман. Она будет танцевать вместе с настоящими балеринами из Оперного театра!

Класс толпится на входе в учебный театр. Переобуваются, поправляют прически. Красивая Альбина в нарядном платье поспешно заплетает косу Лизе Семеновой. Таня шепчется в углу с Ваней. На Тане джинсы и старенький, домашний свитерок.

– Царева, – возмущается учительница, – ты бы еще в пижаме пришла!

– Я бы вообще не пришла, если бы вы не заставили, – рубит Таня.

Альбина закатывает глаза. В этот момент к ней подходит великолепная мама Иры, солистка театра Ольга Бирюкова-Герман.

– Альбина Сергеевна, можно вас на минутку?

Альбина кивает, выпуская из рук доплетенную косу.

– Вчера в школе Иру сильно избили.

– Я про это ничего не знаю! – пугается учительница.

– Странно, что не знаете, – певица добавляет в голос льда, будто коктейль готовит. – Ираида пришла домой с синяками на ногах – я не уверена, что она сможет сегодня танцевать (она говорит «танцАвать»). Я пыталась ее отговорить, но не преуспела. Я прошу вас выяснить, кто сделал это с моей дочерью.

– А сама Ирочка ничего не сказала?

Еще один кубик льда:

– Если бы сказала, я говорила бы сегодня *не с вами!*

Певица уходит в зал, занимает место рядом с мужем и обворожительно улыбается знакомым. Ледяные кубики комом стоят в горле Альбины.

Таня с Ваней сидят прямо позади Ириных родителей – в темноте Таня достает из рта хорошо пожеванный бабл-гам и аккуратно приклеивает его к пышной шевелюре Ольги Бирюковой-Герман. Ира выходит «танцавать» – как настоящая балерина, в пачке, в белых колготках, через ко-

торые со второго ряда видны темные пятна синяков.

Так-то хватит уже вспоминать о детстве! Еще и сны эти, бесят.

Таня просыпается от вопля телефонного будильника. Мама слевой собираются на ежегодный слет байкеров. Мама поправляет прикид перед зеркалом. Лева мнетя в дветрях:

– Тань, точно с нами не поедешь?

– Не поеду. Чего я там не видела? Привет, бабуся.

– Девчонки, счастливо оставаться, – Лева целует свою маму – Батаню и треплет Таню по голове.

– Вы осторожнее только, – просит Батаня, крестит в воздухе сына и его жену.

Мотоциклы ревут за окном, как быки. Дыр-дыр-дыр, и уехали.

– Батаня, как думаешь, Лева жалеет, что у него нет своих детей?

– Вот те раз, – огорчается Батаня, – а ты ж чья?

– Ну, ты понимаешь, о чём я, – сердится Таня. – Лева женился на маме, ты стала моей бабушкой. А ты не жалеешь, что у тебя нет *своих* внуков?

– Ох, Танька, допросишься ремня с такими вопросами!

– А мама говорит, что в юности к ней подруливал один знаменитый бас-гитарист. Но мама его не любила. Знаешь, Батань, я жалею, что она его не

любила. Сейчас это был бы мой реальный папа. И я жила бы в Москве.

– Нужна тебе эта Москва! У них там людей – как грязизи. Все потные, скачут, ругаются. Сами уж не рады своей Москве.

– Батань, ты мне лучше скажи, может один человек типа во всём быть лучше другого?

– Может, – говорит бабушка. – Но только до поры до времени. Потом все равно он начинает в чём-то уступать. Вот взять меня и Томку Черкасову. Мы с детства были закадычные подруги, а потом я поступила в музыкальную школу. И Томке стало ни жить, ни спать, она тоже пошла в эту школу. Но я училась на высший балл, Шопена со слуха играла и пела так, что у людей голова кружилась. А Томка перебивалась с двойки на тройку, и от ее песен у малышей животики болели. Потом я пошла в цирковое училище – захотелось в воздушные гимнастки. Томка – за мной. Стоит на манеже – коротенькая, толстая, как пенек, и пытается растяжку сделать. А я над ней пролетаю, лечу, как птица!

– Батаня, ты не звездишь?

– Честное комсомольское, – говорит бабушка. – И так у нас было до выпускных экзаменов. Томка сдала их с трудом, половину оценок просто вырвала – слезами да соплями взяла. А я – золотая медалистка.

– Батаня, покажи медаль!

– Потерялась, когда я на БАМ ездила. Ты лучше слушай, что дальше было. После училища твоя бабусенька блестяще поступила в институт, а Томка провалилась на экзаменах и пошла работать в лабораторию, где делают анализы.

– Фу, гадость, – говорит Таня.

– Не фукай! Разная бывает работа. Томка мечтала стать врачом и поэтому выбрала эту. И там, в лаборатории, познакомилась с молодым доктором – Евгением Галилеевым. Ты, наверное, слышала про него?

– Это типа тот Галилеев, у которого мегаклиника? – удивляется Таня.

– Да, тот самый, – гордится бабушка. – Томка вышла за него замуж, родила троих детей и между делом окончила медицинский институт. Сейчас работает в Германии по контракту. И Галилеев вокруг нее вертится. А я вот...

– Ну а что ты? – вскидывается Таня. – У тебя такой Лева! И я у тебя есть, и моя мама! Да ну эту Томку с ее Галилеем!

– Ну да, – вяло соглашается Батаня. – Это я тебе к чему рассказываю, Танечка. Во всём быть лучше другого не получится – как ни старайся. Пойдем, что ли, почайпьем.

Вечером Таня засыпает и видит реальный сон: себя такую, на цирковой арене, толстенную и в трико, – а над ней пролетает на качелях под куполом Ира Герман с синяками на ногах – она та-

кая, короче, в белом халате, а в руках у нее банка с анализами.

Концерт в филармонии – это Ира играет с оркестром. Она в строгом платье, с пышной косой, лежащей на спине ровно, как второй позвоночник. Дирижирует папа, мама с милостивым видом сидит в первом ряду.

Ира играет Шостаковича. Шостакович был бы просто счастлив! Мужчина в сером костюме первым вскакивает с места, поддегивая брюки, орет «браво». Ира недовольна.

– Я взяла не ту ноту. Один раз! Но все слышали! Папа, ты слышал?

Папа с виноватым лицом человека, который не умеет врать:

– Ну да, слышал. Ирочка, я должен тебе сказать – у тебя, с этой нотой, получилось лучше, чем у Шостаковича! Если бы он слышал, он бы понял свою ошибку!

– Глупости, Ираида, – подытоживает мама. – Ты играла блистательно! Не самоедствуй! Сейчас мы едем в ресторан – директор пригласил отметить выступление.

В гримерку входит директор филармонии, тот самый мужчина в сером костюме, потирающий ладошки:

– Превосходно! Я даже не думал, что у вас такой талантливый ребенок!

– А почему вы так не думали? – искренне удивляется папа-Ростропович.

Директор тушует, сочно прикладывается к ручке мамы-певицы.

– Ираида, тебе сегодня надо пораньше лечь, – говорит она. – Завтра спектакль в детском театре.

– Мама, – решается Ира. – Я давно хотела сказать, я больше не буду заниматься балетом. Я хочу попробовать себя в другом танце.

– Как это? – не понимает мама. – Какой еще может быть танец?

Ира переглядывается с папой, и он снова выглядит как человек, который не умеет врать.

– Ты знал! – певица возмущена. – Немедленно рассказывайте, вы, оба! – приказывает певица и обмахивается, будто от жары, длинной программкой филармонического абонемента. – Что за танец?

– Ну что это за танец? – возмущается тренер, прерывая выступление очередной группы на сцене.

Таня с Лизой устало сидят в зале, опять в черном, как две грузинские вдовы.

– Ты уроки сделала? – спрашивает вдруг Лиза.

– Что там делать? – удивляется Таня. – Детский сад.

– Ну, не знаю, – обижается Лиза. – Дай алгебру списать.

Таня достает из сумки тетрадь, передает Лизе. Из тетради падает рекламка филармонического концерта с фотографией Иры Герман. Крупная надпись: ДЕВЯТИКЛАССНИЦА ИРАИДА ГЕРМАН ИГРАЕТ С ПРОСЛАВЛЕННЫМ ОРКЕСТРОМ ФИЛАРМОНИИ.

Лиза поднимает рекламку с пола и одновременно с этим поднимает кверху бровь.

– Зачем тебе это?

– Дай сюда, – злится Таня.

– Концерт сегодня, – замечает Лиза. – Вот прямо сейчас Герман бьет по клавишам – ты-дыщ!

Таня криво улыбается и рвет рекламку.

– Бесценные мои, поднимайтесь, – кричит тренер. – Ваша очередь пришла!

Ира Герман сидит в ресторане с веселым директором филармонии и уставшими родителями.

– И всё-таки, Ираида, я не понимаю, чем тебя привлекла такая несимпатичная часть культуры, – мама по-прежнему недовольна, но держится спокойнее. – И название... малоаппетитное!

– Будто кого-то шлепают: хип, хоп! – шутит директор, но тут же сникает под ледяным взглядом Ириной мамы:

– Наверное, кто-то из подружек занимается, да, Ирочка?

Ира вспыхивает.

– Ираида?! – спрашивает мама. – Надеюсь, это не та жуткая девица из семьи мотоциклистов?

Ира вдруг вскакивает с места и выбегает из ресторана, сбив по дороге стул.

– Подростковое поведение, – понимающе кивает головой директор. – Моя Сашка еще не так зажигала! А сейчас сидит тихо-мирно в Швейцарии. Всё уладится, Ольга Борисовна!

Утро в учительской. Юлия Юрьевна говорит коллегам:

– А я всё равно считаю, пусть лучше танцуют свой хип-хоп, чем сидеть как приклеенные к телефонам. Вы посмотрите, посмотрите на детей, – она машет рукой, приглашает подойти к окну. На лавке, как птицы на жердочке, сидят шестеро мальчишек, каждый уткнулся в телефон. – Это ненормально! А танцы – всегда хорошо, и для осанки, для самооценки. Царева вон какая стала красавица!

– Ну если бы бальные, – говорит Альбина Сергеевна. – Или латиноамериканские... Я вот мечтала танцевать танго! Аргентинское! И ногой так – опа!

Пытается изобразить, но неудачно, задевает поднос с чашками, и посуда летит на пол.

– Вот вам и опа, – ворчит пожилая учительница литературы. – Да ладно, идите уже, я убе-ру. А эти все танцы современные – не наша культура, не русская. Негры придумали, а наши дети почему должны им подражать? Не пони-

маю! Сколько раньше было красивых, мелодичных песен... и такие танцы... И передача «Играй, гармонь!» А сейчас – штаны в полкомнаты, и скачет, как на сковородке. Когда сегодня у них этот концерт?

– В шесть. Я обязательно пойду, – говорит Ю-Ю.

На уроке она же, сдержанная, сосредоточенная:

– Сегодня повторим правописание «при-» и «пре». Зайцев, что ты тянешь руку? Что тебе надо?

– А где Царева с Семеновой?

– У них сегодня отчетный концерт, я их отпустила, по записке.

– А у Герман вчера тоже был концерт, она же не отпрашивалась!

– Правда, Ирочка, – вспоминает учительница, – я вчера так тобой гордилась! Я сидела в третьем ряду, в розовой блузке с воланами, не видела, нет? А ты, Зайцев, иди лучше к доске и объясни нам правила правописания «пре» и «при».

– ПРЕкратите ПРИдираться, – ворчит Мартин, проходя между рядов.

Отчетный концерт в ДК. Застывшие золотые слова Ленина. В зале публика, в публике Ю-Ю в кедах. На голове кепка. Ира входит в зал и вначале собирается сесть рядом с учительницей, но потом видит кеды и кепку и пересаживается на два ряда дальше. К ней с двух сторон, молча, идут Ваня и Мартин.

– Ты чего тут садишься, Стивен Хокинг? – спрашивает Ваня. Мартин в шестом классе написал проект, типа ему нравится Стивен Хокинг. – Может, помочь тебе приблизиться к идеалу, а? Чудила!

Мартин всё равно садится рядом с Ирой. Она улыбается ему так же вежливо, как уборщице в школе.

В первом ряду сидят Батаня, Танина мама слевой. Под вой, свист, аплодисменты на сцене появляется тренер.

– Обойдемся без долгих речей! – он даже не пытается перекричать биты. – Мы начинаем!

На сцене появляются детишечки, гоу-гоу, и вот, наконец, пара – Таня и Лиза Семенова, а с ними – вообще нормальный юноша по имени Антон.

– Ах, какой красавец! – кричит Альбина на ухо Ю-Ю. Она в сарафане, плечи все в веснушках, глаза рыжие, как подсолнухи. – Были бы мы, Юлька, помоложе!

Таня – по сюжету танца – уводит любимого у Лизы, и в конце счастливая пара уходит со сцены, а Лиза остается одна и вытирает слезы ладонями. Все трое прыгают, мягко приземляются, движения то резкие, то плавные, и это танец, да, совсем особенный танец.

– Bravo! – тупо кричит в тишине балерина Ира Герман.

Таня и Антон возвращаются на сцену – он подхватывает ее в воздухе и кружит, а Ира держится руками за виски, будто это у нее кружится голова.

Так-то время летит быстро.

Спустя несколько месяцев в магазине одежды хипхоперов надменная женщина выковыривает из кошелька бережно сложенные купюры. Рядом нетерпеливо пританцовывает Мартин в гигантской майке и широких штанах.

– Ну, ма-ам, давай скорее.

– Не галди, – устало просит женщина, – и так для тебя живу. Никакой своей жизни не осталось!

Продавец с каменным лицом отбивает чек и выдает женщине пакет с новой майкой.

– Ты лучшая, мам! – Мартин торопливо чмокает мать в щеку и выбегает из магазина.

– Вот только на это и гожусь, – грустно говорит женщина.

Продавец вдруг теплеет (язык у него проколот, поэтому он пришепetyвает):

– Да это профто фосраст такой! Я тоже таким был – мать фо мной наплакалафь! А фейфас фсе о'кей!

Мама Мартина с сомнением смотрит на утешителя и выходит из магазина. Она рассказала бы сейчас хоть кому-нибудь, каким он раньше был, ее мальчик. Мартин читать научился в три года, он с ходу узнает работы художника Воловича, он с первого класса занимался химией, а в седьмом переводил «Охоту на Снарка» и писал стихи в духе Георга Тракля. И всё это вмиг выпарилось, как вино со сковородки.

Мама пытается проглотить свою боль, но она не глотается, засела в горле сопливым комом.

Вот знать бы, как оно – быть матерью, я бы ни за что не рожала, злобно думает женщина. И тут же расплывается в улыбке, вспоминает, каким забавным был ее мальчик в детстве. Пышечка такой. Учил стихи Бодлера «Альбатрос»:

– Времена Михандраза...

– Какой Михандраз? – пугалась мама. Увиделся не то Минздрав, не то волхв Мельхиор с владыкой Мельхиседеком. А это была строка «Временами хандра заедает матросов...»

А как он рисовал, я вас умоляю! Жаль, не решилась показать Воловичу ту работу – черно-алый черт с копьем на фоне мертвенно-белого леса. И жалобная просьба: «Мамочка, пожалуйста, подпиши здесь в углу «Леонардо да Винчи»! А картина называется «Этюд в багровых штанах».

Мама расправляет плечи и отправляется домой. Ее Мартин еще вернется, вот увидите.

А у Иры Герман родители собираются на гастроли.

– Ираида, – строго говорит Ольга Борисовна, – ты поняла, что нельзя никому открывать дверь? И чтобы никаких вечеринок!

– Ирочка, – мягко просит Ростропович, – пожалуйста, не ешь всухомятку. Там Марья Степановна приготовила обед.

Домработница Марья Степановна, простая на вид, сложная внутри женщина трудной судьбы, вырастает на пороге, оглашая меню:

– Курица с рожками! Чай с сушками!

Ира фыркает:

– Курица с рожками! Чай с ушками!

Они спускаются по лестнице, Ира торопливо машет отъезжающей машине. Пока-пока! Потом выпроваживает домработницу и загружает диск, спрятанный между учебников.

На мониторе появляется юноша, очень похожий на тренера из данс-школы.

– Начнем урок! – бодро говорит он.

Уроки окончились, уборщица моет пол. Ира дергает дверь кабинета с надписью «Психолог».

– Обедает твой психолог, – сварливо говорит уборщица. – Она по три раза в день обедает. Иди в столовую.

– Спасибо, – благодарит Ира и бежит в столовую. У дверей сидит маленькая девочка и горько-горько плачет.

Ира заглядывает в столовую – там несколько женщин с удовольствием питают себя свежими котлетками – и усаживается рядом с малышкой.

– Что случилось? Кто тебя обидел?

Девочка начинает реветь еще громче.

– Мальчишки? – гадают Ира.

Девочка икает от плача. Вообще, она такая милашка. Хотя немного ванилька.

– Слушай, я сейчас позову тебе психолога. Хорошо?

Малышка кивает и утирает слезы.

Ира мчится в столовую:

– Ольга Васильевна!

Ухоженная пухлая женщина неторопливо отправляет в рот котлетку. И поднимает руку вверх: дескать, дай дожую. Ира ждет, приплясывая на месте.

– Ну что случилось такого срочного? – недовольно говорит Ольга Васильевна, сглотнув последний кусочек.

– Там девочка плачет... – теряется Ира.

– У меня обед, – объясняет психолог. – Я, между прочим, тоже живой человек. Доем и приду, подождите.

Так-то девочки всё время плачут, если разобраться.

Ира смотрит на пышные формы психолога – она легко прожила бы месяц за счет подкожного жира. Психолог невозмутимо подцепляет вилкой котлету и продолжает кормиться.

Ира обводит взглядом сотрапезниц (знакомая среди них одна – пожилая учительница литературы, смущенно опустившая взгляд в тарелку) и выходит из столовой. Малышка всхлипывает на той же скамейке, в той же позе.

– Знаешь что? – говорит Ира. – Тебя ведь Соня зовут, да? Ты на скрипке играешь, я помню. Сось,

ты мне расскажешь, почему ты плачешь, а я тебе расскажу, что случилось у меня.

– Меня Арина обидела, – выпаливает вдруг девочка. Как застрявший кусок в горле, как кубик льда или обиду. – Папа привез мне книжку из Парижа. Там красивые лошади. Мы с Ариной смотрели эту книжку, играли, будто бы это всё наши кони. А там была одна моя любимая белая лошадь, я ее сразу полюбила, но Арина сказала, что это будет ее лошадь. А я сказала, что это нечестно – ведь книжка моя! И тогда Арина дернула за страницу, и вот...

Соня достает из сумки яркую книгу и открывает ее в том месте, где страница разорвана почти пополам.

– Во дает твоя Арина! – возмущается Ира. – Но знаешь, я могу склеить эту страницу, будет почти незаметно.

Ира и Соня сидят, такие, в библиотеке. Ира протягивает уже совершенно спокойной малышке склеенную книгу.

– Спасибо, – благодарит девочка. – А теперь ты рассказывай!

Ира с сомнением смотрит на малышку.

– Ты обещала!

– У меня тоже есть... подруга. И она всё время хочет быть лучшей. Лучше всех танцевать, быть самой красивой, учиться на пятерки и никогда никому не проигрывать. Но так получается, что

она проигрывает – мне. А я совсем не хочу быть лучшей, честное слово! Когда ты лучше всех – ты одна.

– А ты ей уступай во всём, – советует малышка. – Просто возьми и проиграй, если она так уж хочет быть лучшей! Альбина Сергеевна всегда говорит нам: «Уступайте друг другу!»

В открытую дверь библиотеки видно, как в свой кабинет заходит психолог Ольга Васильевна с тремя котлетками в желудке. Она садится за стол и громко, довольно икает от сытости.

У входа в ночной клуб «Райский сад» тупо топчутся Таня, Мартин в новой фуфайке, Лиза Семенова, Ваня и Антон.

– Ну что, и где твой *знакомый охранник*? – раздраженно спрашивает Таня.

– Сейчас придет, – обещает Мартин, но видно, что он ни в чём не уверен. – А, вот он! Гарик! Пис, бро!

Громадный Гарик в черных очках – несмотря на сумерки – хмурится, глядя на подбегающего к нему мальчика. Они о чём-то говорят с минуту, после чего Мартин незаметно передает Гарику сложенные стыдливым прямоугольничком купюры. И машет друзьям – путь открыт!

Подростки оглядываются по сторонам в темном и шумном зале. Мальчики изо всех сил стараются выглядеть уверенными в себе, но у них это

плохо получается. Девочки совсем тушуются – даже смелая Таня жметя к стене. Но ей это вскоре надоедает.

Она идет к танцполу и начинает так жечь, что вокруг нее невольно собирается публика и освобождается место. Лиза бежит следом, пытается соответствовать, мальчики тоже подтягиваются, и вскоре вся пятерка – в центре внимания.

Поодаль неумело танцуют Ю-Ю с Альбиной.

– Тебе не кажется, что это *наши*? – спрашивает Альбина.

Ю-Ю в танце подруливает ближе – и точно, фиксирует учеников.

– Я даже не знаю, что делать – самим от них прятаться или их отсюда выводить? – теряется Альбина.

Ю-Ю смотрит на нее непонимающе и решительно берет за руку Таню. Народ вокруг возмущается и свистит.

– Они несовершеннолетние! – говорит Ю-Ю и пытается вытянуть багрового от смущения Мартина прочь из клуба. Это выглядит очень смешно – Мартин на голову выше и в разы толще учительницы. – Ты мне еще потом спасибо скажешь!

На улице Таня говорит Ю-Ю:

– А ведь мы к вам так хорошо относились, Юлия Юрьевна. Даже прозвище вам дали доброе – типа в честь кошечки. Помните диктант про

кошку? «Задние лапки в широких штанинах, хвост как ламповый ерш!»

– Какой еще ерш, Царева? – сердится Альбина. – Ваши родители знают, что вы по клубам ходите?

– Моя мама не против, – сообщает Таня, но все остальные нервничают. Никого не радует перспектива спалиться.

– Ну что, нам пора! – решительно говорит Мартин. – У меня еще английский не сделан.

Урок литературы в девятом классе.

– Семенова, ты прочла «Героя нашего времени»? – спрашивает пожилая учительница.

– А? Что? – Лиза крутит головой, не понимает, о чём ее спрашивают.

Учительница машет рукой, даже не пытается скрывать раздражение.

– Маргарита?

Длинная Маргарита отрицательно машет головой.

– Хорошо, – сдаётся учительница. – Как в первом классе – дети, поднимите руки! Кто прочитал «Героя нашего времени», заданного вам две недели назад? Я уж не говорю о том, что эта книга была в списке литературы на лето!

– Вы *говорите* об этом, – вдруг заявляет Ира Герман.

– Не поняла, Ирочка? – ласково переспрашивает учительница.

Ира краснеет, но упрямо повторяет:

– Вы сказали «я уж не говорю о том», а сами говорите.

Учительница не понимает, что происходит, улыбка сползает с ее лица.

– Итак, кто прочитал Михал Юрьевича Лермонтова?

Таня, не глядя вокруг, решительно поднимает руку.

– И всё? – ужасается учительница. – Ирочка Герман?

– Я не читала, – дерзко говорит Ира. – Можете ставить двойку.

Таня с Ваней оборачиваются к Ире – у них в буквальном смысле слова открыты рты.

– Ирочка, ты заболела? – участливо спрашивает учительница. – Давай я отпущу тебя сегодня с урока, у вас ведь последний, да?

Ира пожимает плечами и выходит из класса.

Вечером в квартире Германов после интеллигентного стука в Ирину комнату заходит папа с подносиком. На нем трясутся чашки с чаем. Ложка съезжает с подноса и падает на пол. Ира нажимает на кнопку пульта, но он ее не слушается.

– Ну что, Ирочка, есть прогресс? – весело спрашивает папа. Он ставит наконец подносик на стол. – Знаешь, всё-таки удивительно, что ты тоже поддалась этому.. ммм... увлечению. Ты ведь выросла на классической музыке. Я водил тебя на

лучшие концерты, в оперу. И мы с мамой всегда считали, что твое будущее – балет...

– Балет? – Ира смеется. – Никогда в жизни мне не нравился балет!

Папа берет с полки куклу в пачке и пуантах, показывает Ире.

– Ну и что, это просто кукла! А хип-хоп – это даже не танец, не музыка, это... Это способ жизни! У меня такое чувство, что я живу в каком-то дряхлом, тухлом мире! Все эти Моцарты, Шостаковичи! Пушкины! Всё это какое-то устаревшее!

– Ирочка, – мягко говорит папа. – Я понимаю, у тебя сейчас протестное поведение. Это соответствует возрасту! Но я всегда гордился тем, что ты не стремишься быть такой, как все. Мы с мамой пытались воспитать тебя личностью!

– Я и так личность, – говорит Ира. – Просто моей личности тесно в опере, в филармонии, в школе! Я знаю, что есть что-то еще в жизни, что-то очень главное, понимаешь?

– Понимаю, – говорит папа. – Ну что сделать, хочешь – танцуй. И я в юности танцевал рок-н-ролл. Давай по чашке чая? С бергамотом!

Ира ставит запись на паузу и садится рядом с папой. Маленькая балерина в пуантах грустно смотрит на них с полки.

И уже назавтра в школе Ю-Ю отчитывает Иру Герман:

– Ира, я тебя не узнаю. Что с тобой случилось?
Мне маму вызывать?

– Мама на гастролях, – дерзко отвечает Ира. –
Могу предложить папу.

– Ты как разговариваешь, Герман? – взрывается
Ю-Ю. – Ты ничего не перепутала? Посмотри сю-
да – по всем предметам двойки! Все учителя на те-
бя жалуются! Ты же была гордостью школы, Ира!

– Всё течет, всё изменяется, – глухо говорит
Ира.

– Тебе надо поговорить с психологом. Зайди
прямо сейчас к Ольге Васильевне. Давай-ка я тебя
провожу.

Ира понуро идет в кабинет психолога – мимо
Доски почета. В этот самый момент Маргарита Зу-
ева снимает с нее фотографию улыбающейся Иры.

Психолог жует шоколадку, хрустит фольгой.

– Здравствуй, Ира. Не хочешь кусочек?

– Спасибо, я уже пообедала, – ядовито говорит
Ира.

– Ирина, – торжественно произносит психолог,
начав было речь, но Ира тут же перебивает ее:

– Ираида.

Психолог хмурится, не понимает.

– Меня зовут не Ирина, а Ираида. Это совсем
другое имя. А ту маленькую девочку, которая ры-
дала у столовой, пока вы ели свои котлетки, ту ма-
ленькую девочку звали Соня. Вы бы хотя бы вы-
учили наши имена, прежде чем лезть к нам в душу.

Психолог надувается, как жаба. Не знает, что сказать.

– Вы хотите спросить, почему я стала хуже учиться? Почему начала грубить учителям и прогуливать уроки? Да потому что я не могу быть вечно лучшей и не хочу этого! И отстаньте от меня со своей психологией и со своим шоколадом, ясно?

Ира выбегает прочь, едва не сбивая с ног Ю-Ю.

Психолог говорит:

– Для первого раза, я считаю, неплохо. Можно даже сказать, у нас прогресс. Девочка сразу раскрылась. Не хотите шоколадку?

Таня собирается на войну. Готовится к баттлу. Тренируется в пустом зале, за окном – темно. Она отрабатывает одни и те же движения перед зеркалом. Наконец в дверь заглядывает Лева:

– Танька, пойдем домой.

Ира готовится к баттлу дома. Маленькая кукла-балеринка подпрыгивает на полке от громких звуков музыки. Ростропович приносит Ольге Борисовне мокрое полотенце, она лежит на диване и страдает – в ногах неразобранная дорожная сумка.

– Боже, я этого не вынесу! – жалуется певица, прикладывая полотенце к вискам. – Жуткие звуки! Никакой гармонии. И она говорит как будто на иностранном языке: баттл! шаффл! вакинг! Кач снизу!

– А вот я уже выучил этот язык. Сейчас переведу. Баттл – это соревнование. Битва. Кто кого перетанцует. Война, Олюня, война!

Вечером Батаня сидит с Таней на диване, подложив подушки под голову.

– Батань, ты как представляешь себе типа удачу?

Бабушка удивленно смотрит на девочку, потом говорит:

– Как кошку. Красивую, пушистую, нравную. У меня была такая кошка Серафима. Придет в гости хороший человек, она ни в какую к нему не идет! Еще и шипит, и царапает! А заглянет на минутку случайный, неприятный тип – Сима тут как тут. Мурлычет, ластится. Он на нее ноль внимания – а Сима просто из шкурки вылезает. Удача – как кошка – сама решает, с кем быть.

– А помнишь, Батаня, ты мне рассказывала про Томку Черкасову? Которая была как пенек, а сейчас в Германии?

– Помню, конечно.

– Знаешь, ты была права. Одному человеку и правда не может всё время везти. И удача от него отвернется – как кошка, которой он надоел. Она уже отворачивается!

Бабушка встревоженно смотрит на Таню, но тут в дверь заглядывает мама:

– Полуночницы, ложитесь спать! Завтра баттл, а они сидят, болтают.

– Я обязательно выиграю завтра, Батаня, – говорит полусонная Таня. – Главный приз – айпад. Мне он очень нужен. Вот бы кошка помогла!

Война началась.

В большом зале спортивного центра – столпотворение ярко одетого народа. Кто-то, пользуясь случаем, разминается, повторяет танцевальные движения. Кто-то мрачно жует бутерброды. Есть даже такие, кто спит с открытым ртом, прислонившись спиной к «козлу». Ира – ее не узнать в яркой майке, с необычной прической, в новеньких кедах, волнуясь, высматривает в толпе знакомых. Вот мелькнул Мартин. Вот Лиза Семенова и Таня. Вот папа, в джинсах и пиджаке, поправляет на носу очки – такой милый, нелепый. Вот тренер из данс-школы. Иру никто не узнает – кроме папы, разумеется, но он делает вид, что не видит ее – они так договорились.

В центре зала на стульях перед аппаратурой сидят судьи – их трое. Высокий негр с волосами, заплетенными в косички. Очень загорелая, красивая блондинка с нерусским выражением лица. И чуть полноватый юноша в широченных штанах и серьгой в ухе.

Журналистка с микрофоном пробирается сквозь толпу к судьям. За ней следует оператор.

– А судьи – кто? – величаво вопрошает журналистка и тут же, нормальным голосом спрашивает: – Нормально смотрюсь?

После третьей попытки она записывает наконец свой стенд-ап.

– А судьи – кто? Кто будет судить нынешнее соревнование – или, как называют его сами танцоры, *баттл*? Давайте познакомимся с нашими арбитрами. Лайза Марина Смит из города Сан-Франциско, Калифорния!

Блондинка встает, делает приветственные движения.

– Джошуа Кристиан, Соединенное Королевство! Негр с места поднимает руку.

– И наш с вами соотечественник, Андрей Куваев из Санкт-Петербурга!

Полноватый делает одними губами «йоу».

Ира дрожит, волнуется. В зале появляется громадный Лева с Таниной мамой и Батаней.

Музыка звучит всё громче, ведущий берет микрофон и громко объявляет:

– Добрый день всем, кто меня слышит! Регистрация пре-селекшн окончена. Международный баттл по хип-хопу объявляется открытым. К нам приехали участники из Москвы, Питера, Тюмени, из Красноярска, Таллина, Вильнюса, даже из Германии! Приветствуем всех и начинаем знакомиться.

Ира неловко прикрепляет на груди наклейку с номером 101. Таня с Лизой выверенным движением приклеивают друг другу свои номера – у Тани «13», у Лизы – «18».

Баттл начинается представлениями участников. Каждый выходит в круг, перед судьями, ведущий громко объявляет в микрофон его имя – или псевдоним.

– Аленка! Игорь из Барнаула! Сибирское золото! Братья-близнецы Гришаня и Мишаня!

Участники танцуют буквально полминуты, после чего ведущий говорит: «Спасибо!» Судьи слегка качают головами, если участник оставляет их равнодушными, и почти приплясывают на месте, если нравится. Джошуа Кристиан устает сидеть на стуле и пересаживается на пол, запросто.

– Так, – Ростропович отводит в сторону Иру. – Главное – пройти пре-селекшн. Для тебя это уже будет победа, потому что ты никогда не участвовала ни в одном баттле.

– Я не смогу, – Ира чуть не плачет. – Ноги как деревянные. Мне страшно! И все смотрят.

– Соberись, тряпка! – сердится папа, и становится ясно, как он управляет с музыкантами. – Представь, что ты прыгаешь с парашютом. Всё равно придется шагнуть из самолета, но лучше сделать это красиво и правильно. Вспомни балет, в конце концов! Что может быть хуже балета?

Ведущий продолжает выкрикивать имена участников:

– Ленуся из Москвы! Приготовиться Алику Екб. Следующая – Таня Царева. О, та самая Татьяна?

Он наклоняется и шепчет что-то на ухо негрусудье. Тот уважительно кивает и смотрит, как Таня выходит в круг.

– Она выигрывала все баттлы, – говорит маленькая девочка рядом с Ирой. – Ни одного не отдала. Никому. Я ее обожаю!

Таня рассказывает своим танцем целую историю, с завязкой, интригой, кульминацией и развязкой. Она перебирает по времени, но ее никто не решается остановить.

«Таня» – от слова «танец».

Негр-судья встает с места в знак уважения.

Выступает Лиза, еще какие-то знакомые и незнакомые люди, отлично танцует Антон, неплохо – Мартин, и даже тренер из данс-школы участвует в баттле. Но вот наконец приходит очередь сто первого номера.

– Ира Геррман! – раскатисто произносит ведущий, и в круге появляется Ира. Первое робкое, неудачное движение.

– Герман? – громко спрашивает Таня. – Наша Ира-Жоподыра?

Она расталкивает зрителей, идет всё ближе и ближе, смотрит пристально. Ростропович сжимает музыкальные пальцы в кулаки.

Ира движется не так продуманно и четко, как Таня, но в ней чувствуется драйв, и еще она всё время улыбается. И балетная выправка при ней, и чувство ритма. Негр вновь встает с места – вто-

рой раз. Опыта у Иры нет, она тоже затягивает выступление – Таня громко свистит:

– Хорош!

– Хороша! – поправляет ее ведущий. – Спасибо, Ира Герман! Приготовиться Маше с Уралмаша!

На улице перед входом в спортцентр нервно курят Танина мама, Лева, журналистка и оператор. Рядом – Ирин папа.

– Я даже не знаю, что думать, – говорит Ростропович, интеллигентно затягиваясь. – Мы совсем недавно узнали, что Ирочка тоже танцует хип-хоп.

– Иван Борисович, – отвечает Танина мама, – для Иры это уже победа – выйти в финал так сразу!

– Надо же! – светски восклицает журналистка. – Какая интрига! Две подружки-одноклассницы вышли в финал!

– Они не подружки, – хором говорят Ростропович и Танина мама.

– К сожалению, – разводит руками Лева.

Публика вливается обратно в ДК, курильщики бросают окурки и спешат в зал.

Ира стоит рядом с Мартином, толстяк говорит ей:

– У Тани есть коронный ход – когда танцует противник, она не просто выжидает-пританцовывает, а делает вот так ладонью, и все смотрят на нее. Тебе надо придумать что-то похожее, свое.

– Мартин, а почему ты решил мне помочь? – вдруг спрашивает Ира. – Ты же дружишь с Таней?

– А я ничего плохого про нее не сказал, – оправдывается Мартин и отходит в сторону.

Таня сидит на скамейке, опустив голову на руки.

Наконец раздается голос ведущего:

– Финальная схватка, лучшие из лучших – Таня Царева против Иры Герман! Девочки, помните, это не война, это хип-хоп! Нам важно, чтобы все остались в живых! Начали!

Таня начинает первой. Ее танец – это целый рассказ, выраженный в движениях рук, ног, головы. Что-ты-забыла-здесь-Герман-ты-и-так-мне-надоела-это-мой-мир (взмах руками) это-мои-люди-проваливай-в-свой-балет (мелкий перебор ногами, как в танце маленьких лебедей).

Судья из Калифорнии внимательно вглядывается в лицо Тани – ненависть утяжеляет невесомые, легкие движения девочки.

Ира отвечает своим «рассказом»: я-не-желаю-тебе-зла-балет (мелкий перебор ногами) мне-надоел-но-в-этом-мире-хватит-места-всем-почему-ты-меня-ненавидишь-я-не-виновата-в-том-что-всё-делаю-лучше-всех!

Пока Ира танцует, Таня по законам состязания должна поддерживать ритм, но оно делает то самое движение ладонью, о котором говорил Мартин.

Обычно оно оттягивает на себя внимание зрителей, но сейчас это не срабатывает, все смотрят только на Иру.

Ведущий кивает Тане, она вновь бросается в бой с новым танцевальным рассказом:

– Ты-не-лучше-всех-ты-обычная-это-я-лучше-всех-я-должна-была-быть-первой-всегда-и-во-всём-тебе-просто-везло-и-сейчас-ты-хочешь-отобрать-у-меня-то-что-я-делала-лучше-тебя-единственное-что-у-меня-есть-это-хип-хоп-и-ты-его-не-получишь.

Ира отвечает:

– Я-не-пытаюсь-отнять-у-тебя-твое-я-просто-хочу-делать-что-то-рядом-с-тобой-я-устала-от-ненависти-а-тебе-разве-не-надоела-эта-вечная-война?

– Стоп! – командует вдруг ведущий. – У нас тут очень интересная ситуация. Предлагаю всем зрителям слегка расслабиться, потанцевать, а мы вместе с жюри постараемся принять верное решение.

Взмокшая Таня проходит мимо Ириного папы, нахально не отвечая на его вежливое «здравствуйте».

Иру бьет крупная, отборная дрожь.

После краткой паузы Андрей Куваев из жюри объявляет:

– Мы хотели, конечно, как в детском саду, сказать, что победила дружба, но всё-таки мы не в детском саду и решили отдать первое место бывшей балерине Ире Герман, которая впервые участвует

в баттлах и вообще начала танцевать хип-хоп всего лишь несколько месяцев назад!

Все хлопают, свистят. Лиза украдкой смотрит на Таню, Таня внимательно разглядывает свои ладони.

– Ира, выйди сюда. Сегодня классные призы. Сертификат в магазин одежды для танца и айпад! Поздравляем тебя! Таня, иди к нам. Вы должны обняться с Ирой – по правилам, ты помнишь?

Бледная Таня с кривой улыбкой выходит в центр зала и с отвращением обнимает Иру. Ира – зато – на седьмом небе от счастья:

– А можно, я скажу?

Она берет микрофон у ведущего:

– Я так благодарна вам всем, и... знаете, я бы хотела отдать мой приз, айпад, Татьяне Царевой! Она его заслужила. Она – лучшая!

Все хлопают, Танина мама вскрикивает.

Таня резко выдергивает микрофон у Иры:

– Спасибо, но это приз за первое место! Инджой, балерина!

Она уходит прочь, Лева догоняет ее, обнимает своей громадной ручищей.

– Герман, – улыбается Ваня Колязин, – если тебе не нужен айпад, я бы не отказался. Подаришь?

Ира не знает что ответить, но тут, к счастью, рядом вырастает Ростропович и говорит:

– Пойдем, Ирочка.

– Пойдем, Ирочка, – кривляясь, передразнивает его Ваня и догоняет друзей, выходящих из зала. Няша Абрикос выводит вперед своих гоу-гоу.

В двух дневниках – море разлитое двоек и длинных учительских замечаний.

На уроках Таня сидит спиной к школьной доске. Ира полулежит на парте. У Тани проколот нос. У Иры – язык.

– Теперь у вас конкурс, кто хуже? – возмущается Ю-Ю. – Да что это с вами, девочки? Девятый класс, экзамены на носу! Царева, Герман, завтра обе в школу с родителями. Маргарита, иди к доске!

Радостная Маргарита, воспарившая на фоне бывших отличниц, идет походкой пай-девочки к доске. Начинает бойко рассказывать о фонетике.

Под дверью класса стоят грустная, нахохлившаяся мама Тани и бессменный Лева. По коридору к ним идут роскошная Ольга Бирюкова-Герман и Ростропович.

– Добрый день, – холодно роняет певица.

Лева решительно протягивает руку Ростроповичу, и тот ее крепко пожимает.

– У вас тоже проблемы? – выдыхает Танина мама. – Наша-то, знаете, нос продырявила. Уроки вообще забросила. Что с ней будет? Парня-то можно в армию отдать, в суворовское, а с девкой что де-

лать? Дружит с каким-то абрикосом. Куда ее девать?

– В монастырь? – пытается пошутить Ростропович.

– Иван, – морщится певица, – умоляю, прекрати.

– Я бы рад, Олюня, но это не в моих силах. Наша Ира тоже сделала пирсинг. И совершенно перестала учиться. Целыми днями где-то пропадает. Танцует. Вчера ее провожал домой мальчик – я видел в окно. Они целовались. Как-то всё быстро, правда?

Дверь класса открывается – там стоит решительная Ю-Ю.

– Заходите. К нам присоединится психолог, чуть позже, после обеда. А пока давайте начнем без нее. Дорогие мои, я без вас не справлюсь. Две наши звезды, Ира и Таня, на которых все равнялись, я... я вообще не понимаю, в чём дело!

Ю-Ю вдруг плачет. Становится похожей на маленькую зареванную девочку.

– У меня, знаете, нет своих детей. И я люблю моих учеников, как будто они мои родные. Но Таня бросила учиться. Ира позволяет себе такие выражения, Ольга Борисовна, я никогда не поверю, что в вашей семье их используют.

Лева деликатно кашляет:

– Вы намекаете, что это *у нас дома* принято материться почем зря?

– Да ну что вы, Лев Леонидович!

– Ну, в нашей семье, например, даже слово «дурак» не говорят, – включается Ольга Борисовна.

Ю-Ю всплескивает руками:

– Святые люди! И ваша Ира тоже не говорит слова «дурак». У нее куда более... разнообразный лексикон.

Ростропович вдруг поднимает ладони вверх, и все послушно замолкают – как и следует оркестру перед дирижером.

– Стоп! Мои дорогие, а сами вы в шестнадцать лет не чудили? По концертам не бегали, пиво в кустах не пили?

Все молчат, только Лева вдруг улыбается широко:

– Да я и сейчас... могу.

– Не сомневаюсь! – огрызается Ольга Борисовна.

– Другое дело, что это может слишком далеко зайти, вся эта вражда.

– И что они не поделили! – удивляется Танина мама. – Обе умницы, красавицы.

Ольга Борисовна с вызовом смотрит на парикмахершу:

– Лучшая всегда – одна.

– И в финале засчитывают только первого, – соглашается Лева.

– Ну, у нас тут не ипподром, – возмущается Ю-Ю. – Весь класс поделился на две части – одна

за Цареву, другая за Герман. Не хватает только предвыборных программ и листовок с обещаниями.

– А если нам перевести Ираиду в лицей? – задумчиво спрашивает Ольга Борисовна.

Ю-Ю нервно стирает с доски тему урока, дает понять, что встреча окончилась.

Родители уходят все вместе, вчетвером. Навстречу им неторопливо идет школьный психолог Ольга Васильевна с булочками в полиэтиленовом пакете.

– Уже уходите? – приветливо говорит она. – Ну, тогда в следующий раз.

Журналистка пишет очередной стенд-ап на фоне стены с граффити.

– Ну, не знаю, – говорит она оператору. – Как-то это банально: если хип-хоп, то сразу – граффити. А если граффити – то тогда хип-хоп. И «йоу!».

– А где еще снимать? – философски спрашивает оператор. – В филармонии?

– Ну да, – соглашается журналистка. – Давай, поехали (откашливается, взбивает волосы). Хип-хоп – это не просто танец или музыкальный стиль, это особый мир. И, я бы сказала, культура, да, целая культура...

За журналисткой проходят двое молодых людей, пытаются подстроить ей рожки.

– ...культура, в которой может состояться каждый. Неважно, как выглядит молодой человек,

красивая это девушка или нет, стройная или наоборот – хип-хоп принимает каждого, кто идет ему навстречу. На баттлах царит удивительное чувство, редкое в наше время, – чувство дружбы, взаимодействия, взаимной поддержки. В нем нет места злобе и соперничеству.

– Здесь нет соперников, – убеждает журналистка. Странно, что она проглядела войну.

На физике Таня пишет записку Ване: «Встретимся где обычно».

Ваня кивает.

Они сидят в закутке у лаборантской – как в детстве.

– Сколько? – спрашивает Ваня.

– Косарь, – отвечает Таня.

– Согласен.

На следующий день Ваня подходит к Ире. Она вспыхивает, краснеет. Испуганно, впрочем, смотрит на его рюкзак, которым он размахивает. Девочки на задних партах внимательно наблюдают за ними.

– Герман, – говорит Ваня, – у меня к тебе две просьбы.

– Да ну? – Ира пытается выглядеть независимо.

– Первая, – серьезно говорит Ваня. – Пойдешь завтра со мной в клуб?

– Пойду. А вторая?

– Пожалуйста, убери из языка эту шнягу.

Ира показывает ему проколотый язык.

– Тебе не нравится?

– Нет. Убери... на всякий случай.

Ира вспыхивает, неужели он думает про поцелуи? Тогда, с Антоном из данс-школы, она целовалась во дворе назло Тане. Но в самом деле ей никто и никогда не нравился больше, чем Ваня. Это первая любовь, единственная, навсегда.

Ваня красиво выходит из класса. Ира поднимает глаза к потолку и шепчет: «Да, да, да!»

Дома у Германов Ира готовится к свиданию. Лиза Семенова сидит на диване и критически разглядывает разложенные на кровати вещи.

– Чем больше денег, тем меньше вкуса, – заявляет она.

– Ну, не так уж много у нас денег. Просто мама любит классику. А я собиралась пойти в этом, – она выходит из-за ширмы, и Лиза ахает:

– Круто, Герман!

Ира кружится, танцует, радуется, предвкушает.

– Теперь я знаю, что все мечты сбываются.

– Ну да, – говорит Лиза. – А в какой клуб вы идете?

– В «Райский сад».

Вывеска «Райский сад». Ваня с Мартином стоят у входа в клуб, крутят головами, как совы.

Появляется Ира, такая красивая, что даже Ваня смотрит на нее иначе. Мартин разглядывает носки своих кроссовок.

– Вы вместе? – спрашивает Ира. – Ты с нами тоже пойдешь, Зайцев?

– Нет, Ира, у меня почетная роль проводника, – язвит Мартин. – Я сейчас открою вам ворота, где стоит ангел с мечом.

– Ангел с мячом? – удивляется Ваня.

Ира впервые смотрит на Ваню с неудовольствием. А на Мартина – с интересом.

– Вот и он, – говорит Мартин, показывая на охранника Гарика, открывшего двери в клуб. – Гарик, здорово!

Операция повторяется – рука, свернутые купюры, вот только сам Мартин не идет в клуб с друзьями, а грустно смотрит им вслед. Когда Ира и Ваня скрываются в шуме и гаме, Мартин медленно уходит. Точнее, пытается уйти, а потом всё равно возвращается и стоит у клуба вместе с огромной толпой. Ему видится знакомое лицо – кажется, Танино? Мартин вглядывается в толпу, но Таня (если это была она) быстро исчезает.

В клубе гремит музыка.

Ваня кричит на ухо Ире:

– Подожди меня, пожалуйста! Я вернусь через секунду.

Ира кивает. Дело сделано, Ваня выходит из клуба и набирает номер на мобильнике:

– Всё сделано, шеф! Элвис покинул здание. В смысле, я пошел, она осталась. У тебя минут десять.

Мартин внимательно наблюдает за тем, как Ваня идет прочь, он собирается догнать его, но потом круто разворачивается и бежит в клуб.

Ира ходит от одного кружка к другому, пытается спрашивать о чём-то у охранников, перекрикивая шум, но все только пожимают плечами. Никто не знает, где Ваня. Ире всё кажется, что Ваня вот-вот выйдет к ней. В конце концов она оказывается на танцполе, но понимает, что не может, не хочет и не будет сейчас танцевать. Таня внимательно смотрит на нее из толпы – и лицо ее случайно попадает в поле зрения Иры. Ира хмурится, пробирается к ней, и тут внезапно раздается девичий крик и вой пожарной сигнализации. Помещение заполняют клубы дыма. Музыка не стихает, и голоса охранников никто не слышит.

– Прорвало трубу, прорвало! – кричит ангел-Гарик. – Все срочно на выход, кипятик хлещет!

В клубе воцаряется жуткий кавардак. Музыка долго не стихает, а когда она наконец замолкает, в зале повисает страшная тишина. Пол курится, как сопки. Мартин выносит Иру на руках из клуба – сопит, плачет, вытирает сопли.

– Царева, – шепчет Ира. – Я видела ее, она там...
Мы должны сделать это... Должны ее найти.

– Шшшш, – шепчет Мартин, – не было там никакой Тани. Сейчас поедем домой. Вон твой папа уже приехал.

Ростропович прямо во фраке, из театра, бежит к клубу.

Журналистка на фоне клуба с вывороченной дверью говорит оператору:

– Ты готов? А дверь видно? А я как выгляжу?
Подожди, сниму пиджак.

Она снимает пиджак и вешает его на ветку дерева.

– Поехали! Вчерашняя авария в клубе «Райский сад» обернулась настоящей катастрофой. По неустановленной причине прорвало трубу отопления, и здание буквально залило кипятком. Очевидцы утверждают, что в нем можно было свариться! Есть жертвы происшествия, мужчина двадцати четырех лет и шестнадцатилетняя девушка, доставленная в реанимационное отделение областной больницы. Ее состояние оценивается как тяжелое – она получила глубокие ожоги обеих ног. Родные девушки, имя которой мы, по понятным причинам, не разглашаем, сообщили нам, что она серьезно увлекалась танцами, а теперь неясно, сможет ли жертва ходить. Мы будем держать вас в курсе событий. С вами была Ксения Андреева.

Журналистка снимает пиджак с ветки.

– Ну как? Может, еще один запишем? Я сказала «обоих ног», по-моему. Надо «обеих». Давай еще дубль, а?

– Давай, – соглашается оператор, и пиджак снова отправляется на дерево.

– Поехали!

Начало октября. День учителя. Ю-Ю вместе с Альбиной Сергеевной выходят из какого-то учреждения. В руках у них гладиолусы, похожие на цветы, с которыми когда-то давно Ира и Таня шли в первый класс.

– Сразу видно, две училки идут с мероприятия, – говорит Ю-Ю. – Каждую одарили цветочком. Что с ними делать будем? Выкинуть жалко.

– Можно подарить кому-нибудь, – отвечает подруга.

– Слушай, а давай их *возложим*? – загорается вдруг Ю-Ю. – Ну помнишь, как в детстве?

– Юля, ты чокнулась, – говорит подруга. – Куда мы их возложим?

– А вот, – Ю-Ю оглядывается по сторонам, – вот, например, памятнику Малышеву Ивану Михайловичу, пламенному революционеру. Наверняка погиб совсем молодой и был, в сущности, неплохим человеком.

Альбина в сомнениях смотрит на свой гладиолус, как бы взвешивает его.

– Ну, давай.

Учительницы переходят через дорогу и торжественно кладут цветы у памятника.

– Вот, Иван Михайлович, – серьезно говорит Альбина Сергеевна, – мы без всяких шуток дарим тебе эти скромные цветы.

– И просим, – включается подруга, – помоги нам, чем можешь. Совсем никаких мужчин рядом с нами нет, и это очень плохо.

Обе молча смотрят на памятник, задрав головы.

Сзади раздаётся юношеский басок:

– Здравствуйте, Юлия Юрьевна!

Ю-Ю хватается за сердце:

– Господи, уже, что ли, помогает? Так быстро?

За ней стоят Ваня Колязин и Лиза Семенова.

– С днем учителя, – лебезит Лиза.

– Здоровья вам, – вторит Ваня.

– Спасибо, – говорит Альбина Сергеевна. – Ваня, а как твоя подружка себя чувствует?

– Да вроде лучше, – мнется Ваня. Лиза и вовсе смотрит куда-то вдаль, за Малышева.

– О ней столько везде писали, говорили. Лиза, ты, наверное, часто к ней ходишь? Передавай от меня привет.

– Вы и сами можете сходить, туда всех пускают, – говорит Лиза.

– Да, – кивает Ю-Ю, – я каждую неделю ее навещаю, мы занимаемся понемногу. Десятый класс, всё серьезно.

– Десятый класс! – возмущается пожилая учительница литературы. – Давайте будем серьезнее! Зайцев, я прочла твоё сочинение. Очень хорошая работа. Очень!

Она идет по рядам и раздает тетради.

– Маргарита, неплохо. Колязин – на тройку, и то скажи мне «спасибо».

– Я вам шоколадку куплю.

– Спасибо, не надо. Семенова, средненько. Ты можешь лучше. Герман!

Ира сидит одна, она очень похудела и повзрослела. Никаких крашенных волос и пирсинга, балетная головка с гладко причесанными волосами.

– Герман, пять-пять. Я так рада, Ирочка, что ты взялась за ум. Никогда не поздно! Поверь мне.

Ира пишет записку Ване: «Давай встретимся после уроков. У меня к тебе дело».

Ваня разворачивает записку и удивленно смотрит на Иру.

– Да-да, – невпопад, но кстати говорит учительница. – Герман всех нас приятно удивила!

– Сколько? – спрашивает Ваня.

– В смысле? – не понимает Ира. Они сидят в закутке у лаборантской.

– Сколько ты мне дашь, чтобы я к ней сходил? Мне сейчас некогда.

Ира презрительно смотрит на Ваню.

– А сколько тебе нужно?

– Ну, не знаю, – тянет Колязин. – Косарь!

– Сам ты... косарь! – злится Ира, но достает из сумки кошелек. – На! Сегодня же пойдешь, ладно?

– Ладно.

– Я проверю.

– Странные вы обе, – говорит Ваня. – Делать вам нечего.

Ваня входит в ожоговое отделение. Батаня и Лева выходят из палаты.

– Ой, Ваня, – радуется Батаня. – Что-то ваших не видно – только учительница ходит да этот... полненький.

– И пресса дежурит, – говорит Лева, показывая глазами на журналистку с оператором, занявших стратегическую позицию возле палаты. – Танька сердится, когда их видит. А тебе она будет рада, заходи.

Ваня входит в палату, видит Таню Цареву под одеялом, опасливо смотрит ей на ноги.

Она ловит взгляд.

– Ноги пока на месте! До следующей недели точно. Ты чего пришел?

– Да так, навестить, – мнется Ваня.

– Мать попросила? – быстро спрашивает Таня. – Или Лева?

– Я сам, – честно врет Ваня. – Ты как?

– Скоро отрежут пальцы на ногах, – серьезно говорит Таня. – Представляешь, мне шестнадцать лет, а я буду инвалид без пальцев. Ха, я тут вспом-

нила, как наш тренер говорил: «Давайте сделаем горячо!» Вот мне и сделали горячо. Ты даже не представляешь, какое это было «горячо»! Ты ведь ушел тогда, а я осталась посмотреть на Герман, а потом охранник закричал: «Девочка, иди в ту сторону, это просто вода!»

– Таня, – говорит Ваня. – Я ни в чём перед тобой не виноват.

– А я тебя и не виню, – удивляется Таня. – Я просто рассказываю. Ты что на часы смотришь? Торопишься?

– У меня встреча, – врет Ваня.

– Ну давай, встречайся. Удачи тебе! Успехов!

– Ты никому не сказала? – спрашивает он от порога. – Про меня и Герман?

Таня долго смотрит на него, а потом понимает:

– Это она тебя прислала. Великодушная наша! И почему нынче Ваня Колязин? Прежние расценки?

Ваня вздрагивает и почти выбегает из палаты.

– Есть новости? – быстро спрашивает его журналистка. – Мы готовы заплатить за информацию, правда немного.

Ваня уходит с журналисткой.

Ира Герман в балетной пачке, в жуткой четвертой позиции. Наставница, высохшая танцовщица с окаменевшей прямой спиной, морщится и бьет ее указкой по ногам – как лошадь.

Маргарита сидит в кабинете психолога – та жу-ет бублик и говорит:

– Спасибо, Марина, что поделилась со мной своими чувствами.

– Маргарита, – говорит Зуева. – Меня зовут Маргарита.

Две учительницы идут к памятнику Малышева с цветами и сталкиваются лицом к лицу с двумя рослыми спортсменами.

– Какие цветочки!

– Это вы про нас? – шутит Альбина, а Ю-Ю шепчет каменному Малышеву: «Спасибо, Иван Михайлович!»

Лева с Таниной мамой уезжают на слет байкеров. На огромных флагах – надписи «Сбор средств для Тани Ц.».

Ольга Борисовна Бирюкова-Герман выходит на сцену. Шум аплодисментов. Ростропович взмахивает дирижерской палочкой.

– Добрый вечер, – говорит Ольга Борисовна. – Сегодня мы собираем средства для лечения талантливой танцовщицы и... подруги моей дочери – Татьяны Царевой. Тане шестнадцать, она пострадала во время аварии в клубе «Райский сад». Прошу каждого дать столько, сколько он сможет, для Тани.

Она первой бросает деньги в прозрачную коробку у сцены. За ней тянутся зрители из зала. Ольга

На войне

Борисовна начинает петь. Ира танцует. Потом на сцене появляются детишечки, гоу-гоу с неподражаемой Няшей Абрикос, школьный ансамбль училок. Жуткая самодеятельность соседствует с профессиональными выступлениями.

К коробке подходит домработница Германов Марья Степановна. Она гордо кладет в коробку сто рублей. А потом добавляет еще пятьдесят.

К концу выступления коробка полным-полна.

Что было дальше на этой войне – тупо не знает никто.

Хотя так-то догадаться можно.

Подожди, я умру – и приду

– Это как? – не поняла Селия.

Они с Бартом стояли ближе всех к огражденному веревками экспонату. Плоская коробка величиной с кухонный телевизор, по широкой черной плоскости, переворачиваясь и ныряя, как синхронные пловчихи, двигались буквы.

«Подожди, я умру – и приду».

Барт пожал плечами. Считалось, что он самый умный в школе, и вопросы всегда адресовались ему. По умолчанию, так сказать. Правда, сейчас умалчивал сам Барт. Выглядеть дураком перед Селией ему не хотелось, но что сказать, если в голове полный ноль? Сериалы ни о чём таком не распространялись. Барт разозлился, поднял голову – на привычном месте, стена у окна, висел портрет Григори Хауса. Хаус улыбался, уютные морщинки у глаз – как на перчатках у Клелии – разбежались веерами. Длинная, раздвоенная, как змеиный язык, борода. Лицо без сюрпризов.

Клелия хлопнула в ладоши. Вспомнила, что она в перчатках, сняла их и хлопнула еще раз.

– Внимание, ребяточки!

Селия придвинулась ближе к Барту.

– Я вас поздравляю, – загадочно начала Клелия, и Барт внутренне закатил глаза. Сейчас заведет вольты на полчаса – про то, как им сегодня повезло, да какое необычное место этот Музей, и что сюда пускают только лучших... Будто они сами не знают, как им повезло! Селия не сводила глаз с личика Клелии, и Барт незаметно высунул язык, чтобы потрогать прыщик в углу рта. Такая мерзость! Не мог вылезти через день, нет, надо было выбрать именно этот!

Селия стояла совсем близко, волосы у нее были как льющийся мед. И пахли цветами. А Клелию несло как заведенную.

– Ребяточки, вы лучшие из лучших! Вы доказали своей учебой и трудом, что достойны заглянуть в темный мир прошлого, который откроет для вас сегодня наш экскурсовод – Декстер Дюбуа. Встречайте!

В зале погас свет, Селия схватила Барта за руку. Пальцы гладкие, как шахматные фигурки. В темноте по залу летали объемные буквы, из которых складывались слова: «ЗАПРЕТИТЬ ИНТЕРНЕТ – ЭТО СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ. АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ».

– Я ни слова не поняла, – шепнула Селия щекотными, теплыми губами. – Кто такой Интернет, что такое корея и что за странное имя Алексей Иванов? Это, вообще, имя или название?

Барт промолчал. Он тоже не понял ни слова, но никогда в этом не признается. Не при Селии.

Буквы становились всё больше, гигантская А из имени, или что это такое, «Алексей» подлетела прямо к носу Барта и лопнула, как мыльный пузырь.

Тут же заиграла музыка, «Воспоминание о Трианоне» Мюллера, с ходу определил Барт. Буквы лопались одна за другой, будто в них кто-то стрелял. И наконец, этот кто-то появился – Декстер Дюбуа! Вначале гости увидели бледную растопыренную ладонь, потом – щеки с черными бачками, потом – глаза с наклеенными на эпикантус слезами. Последний крик моды, если верить сестре Барта, Хайтауэр. Она сделала три операции, прежде чем получила именно такой эпикантус. А слезы приходится приклеивать каждый месяц. Хайтауэр модница, жаль, что училась плохо – будет теперь работать санитаркой до конца жизни.

– Офигенная, – шепнула Селия.

– Офигенный! – кокетливо поправил ее Декстер Дюбуа. – Я мужчинка, просто немножечко прячусь. Приветствую вас в Музее, месте, где ожидают ужасы прошлого! Представляю, сколько у вас накопилось вопросов...

Свет вспыхнул, и Барт с Селией сморщились, будто ели вместе один лимон. Боже мой, о чём он думает! Он при Селии даже кусочка проглотить не

сможет, вечно делает вид, что у него нет аппетита – а потом поддыхает от голода.

При свете Декстер Дюбуа оказался кокетливым педерастом неопределенного возраста. От пятидесяти до семидесяти, решил Барт. Но никак не больше семидесяти – кожа очень гладкая и руки без единого пятнышка.

– Прелестная Клелия! – Декстер склонился над рукой учительницы, клюнул воздух покрашенными губами. Видно было, как она ему противна. Клелия, идиотка, этого не замечала, улыбалась, как в позапрошлом веке, когда с улыбками ходили все подряд. Жуть, конечно! В наше время так скалятся только абсолютные деревенщины. К счастью, Клелия вспомнила, что она не просто в Городе, а еще и в Музее – месте священного ужаса. И убрала, спасибо, свой оскал.

Вот Хайтауэр, к примеру, так и не допустили до Экскурсии. Это единственный шанс в жизни для человека! Если он не попал сюда в шестнадцать, значит, не попадет никогда. Правда, есть исключения – учителя и Хранители, вроде этого Декстера.

– У меня вопрос! Вы давно здесь работаете?

– Какой быстрый мальчик, – удивился Декстер и достал из кармана лупу на цепочке. Близорукий глаз с наклеенными слезами выглядел за линзой так, как дверной глазок из детективов, которые задали вчера смотреть по психологии. Барт сломал-

ся на восьмой серии, уснул прямо перед телевизором, и мама утром ругала его лентяем. Его, лучшего ученика школы!

Насмотревшись на Барта, Декстер спрятал лупу в карман.

– Хранители Музея работают здесь с юности и до самой смерти. Однажды я пришел сюда точно так же, как вы, Барт Картман. И вот мне сто три года, а я всё еще здесь!

Декстер замолчал, чтобы все смогли осознать, как он отлично сохранился для ста трех лет, но группа подобралась какая-то малочувствительная. Только добрая Селия вежливо подняла брови кверху.

– Да, – обиженно уточнил Хранитель, – я еще здесь! Я знаю о том мире почти всё. Может быть, я знаю о нем даже больше, чем его обитатели, вымершие от смертельной болезни Интернет.

– Она была заразной? – спросила Селия.

– Конечно, Селия Купер. Не зря эту болезнь называли Всемирной паутиной или просто Сетью. Переносили эту заразу вот такие невинные на вид коробочки – компьютеры. Как только люди покупали себе компьютер, они тут же попадали в группу риска. Но для того чтобы заразиться, им надо было подключиться к Интернету.

– А зачем они это делали? – спросил робкий мальчик, державшийся поближе к Клелии.

– Затем, Шелдон Смит, что их никто не предупредал о том, какая это страшная опасность. К счастью, вы живете в свободной Российской стране, где каждый предупрежден о том, насколько опасно даже подходить к этой машине!

Декстер щелкнул пальцами, полилась решительная, но вместе с тем нежная музыка. Шуман, «Маленький утренний путешественник».

О компьютерах Барт знал очень мало. В старых сериалах, которые они смотрели на истории, вместо компьютеров были серые мутные квадратики, как на картинах, где изображены обнаженные части человеческих тел. Эти обнажения – тоже жуткий пережиток прошлого, как и сетевая эпидемия, стубившая весь мир. Уцелела только Российская страна благодаря Грегори Хаусу и его мудрому решению выжечь Интернет, как язву. Неудивительно, что он взял себе имя и фамилию величайшего лекаря прошлого.

«Это маленький шаг для человека, – добавил Хаус в своей исторической речи, – но огромный шаг для всего человечества».

Бодрый Декстер шагал впереди группы экскурсантов, Клелия была замыкающей, будто они не в Музее, а в особо опасном лесном походе.

Рядом с небольшим стендом гид остановился, подождал, пока подтянутся остальные. Близорукый Шелдон придвинулся было поближе к стенду, но тут же запищала сигнализация.

Декстер вновь шелкнул пальцами, мерзкий писк пропал, и снова зазвучало фортепьяно – «Киарина». Эту пьесу любил папа Барта, он умер в прошлом году. Барт почувствовал, что сейчас заплачет, вот прямо очень не вовремя. К счастью, «Киарина» короткая, скоро окончится.

Со стенда смотрели четыре фотопортрета, Барт сказал бы, что эти люди жили в конце двадцатого века – судя по одежде, нелепым улыбкам и качеству изображений. «Сэр Тимоти Джон Бернерс-Ли» выглядел несколько смущенным, «Билл Гейтс» – виноватым, а вот «Стив Джобс» Барту понравился. Четвертого человека звали «Гейб Ньюэлл», и, судя по всему, он довольно долго отказывал себе в качественном питании и занятиях физкультурным спортом. Детям двадцать второго века такое себе сложно представить.

Декстер подробно рассказал о злодеяниях, которые творили эти люди, приучая мир к своим вредоносным изобретениям и так называемым гаджетам. Объяснил, что такое Интернет, Стим, Эпл и Майкрософт – другие имена сатаны. Барт чувствовал что-то смутно знакомое, будто он уже когда-то слышал эти имена. Но он, конечно, тоже чувствовал себя напуганным – а Селия, та вовсе прижалась к нему и дрожала, как от холода.

– Не бойся, они не оживут! – Барт, как мог, попытался успокоить девочку, но тут вдруг Декстер расхохотался, услышав его слова.

– Не оживут, х-ха! Ты мне нравишься, Барт Картман! Назвали тебя, конечно, по мотивам Симпсонов и Южного парка, д-да?

Барт ошетинился. Вот не надо так с ним при Селии.

– А вы знаете еще каких-то Бартов в сериалах?

– В «Хоре» есть Барт Хаммел, – подала голос девочка из чужой школы. Отличница, как и Барт, – на плече пять нашивок. Клелия высоко подняла подбородок. Вот такие у нее дети!

– Отлично, Мария Уолдорф! – сказал Декстер. – Давайте перейдем к следующим экспонатам, я покажу вам, как люди в начале двадцать первого века общались друг с другом. Они почти разучились разговаривать, но каждый был подсоединен к особому устройству. Это мог быть компьютер, стационарный или переносной. Мог быть даже телефон – вот такой, смотрите!

Декстер аккуратно держал в руках черный предмет размером с телевизионный пульт. Только на пульте всего две кнопки, а на предмете – множество. И на уютный плюшевый телефон с хвостом, который жил дома у каждого в Российской стране, предмет не походил ни капельки.

– Это телефон? – поразилась Мария.

Декстер нажал кнопку, и все услышали короткие, несомненно телефонные гудки. А Барт почувствовал нечто вроде зависти к экскурсоводу, который может запросто лапать такие штуки.

– Люди общались друг с другом не только при помощи звонков, как это делаем и мы с помощью наших верных пушистых телефонов. Они передавали друг другу так называемые смс-сообщения, часто бессмысленные и даже оскорбительные. К ним обязательно нужно было добавить так называемый смайлик.

На экране засветилось беснующееся море желтых кружочков с глазами, ножками, ушами и даже рогами. Они изображали разные чувства и действия, иногда совершенно неприличные. Стыдно признаться, но Барту эти чудики тоже понравились.

– В начале двадцать первого века люди писали другу другу смс и отправляли картинки. Так началась страшная драма столетия – смерть русского языка. К счастью, наших с вами прадедов вовремя спас английский, и они всё-таки выжили, в отличие от прочего мира, где сейчас вообще уже никто никак не разговаривает. Всё дело в том, милейшие мои дети, что параллельно с этими смс над миром нависла куда более страшная зараза.

– Интернет? – пискнула перепуганная Селия.

Декстер трагически закрыл глаза:

– Да, Селия, Интернет. Правда, и у него, как у сатаны, тоже было много имен!

Гид, как чокнутый, неся впереди школьников, включая то один, то другой экран.

– Социальные сети! Порносайты! Компьютерные игры! Виртуальные путешествия! Фотки котят! Чаты! Электронные книги! Скачивание музыки! Фейсбук!

– Я ни слова не поняла, – шепнула Селия.

Барт тоже был, мягко говоря, в смятении. Он ждал от этой экскурсии чего-то другого – отец, к примеру, вспоминал свое посещение Музея до самой смерти. Как Барт жалел, что папа не дожил до сегодняшнего дня! Тем более, Хайтауэр пролетела мимо и теперь никогда не узнает, что скрывается за серыми стенами. Барт ей, во всяком случае, рассказывать не будет. А маме... Мама так всего боится, что лучше не говорить с ней о таких загадочных вещах, как фейсбук и чаты.

– Люди каждый день описывали свою жизнь в виртуальных дневниках и выкладывали там свои изображения. А их знакомые – совершенно не обязательно известные им в реальности – ставили на эти изображения «лайки».

– От глагола *to like*? – спросила догадливая Мария, и Декстер приложил к своим слезам пальцы, будто заплакал от счастья.

– Именно, дорогая Мария! Именно! Бедные наши предки даже не подозревали, на краю какой пропасти оказались. Пока они лайкали фотки котят, жизнь вокруг становилась всё опаснее и опаснее. Перестали рождаться дети. Народы истребляли друг друга. Планета умирала, гибли животные

и растения. Сам воздух стал опасным для жизни. Но виртуальный народ не волновался – у каждого был собственный сетевой младенец, а то и несколько. Не говоря уже о 3D-зоопарках и играх-стратегиях.

Клелия, заметил Барт, уже довольно давно стоит и жуёт свою перчатку. Нервная женщина. А гид продолжал рассказывать страшилки из прошлого:

– Наши несчастные прадеды не верили, что можно жить без Интернета. Писатель Алексей Иванов в одной из книг (она написана на ныне мертвом русском языке, и прочесть ее даже наш умный Барт Картман, к сожалению, не сможет) сравнил запрет Интернета с Северной Кореей! Была такая счастливая страна с очень грамотным управлением – но виртуальным людям она казалась несчастной. Потому что там не было Интернета!

И вот тогда появился Грегори Хаус.

Декстер хлопнул в ладоши, и под куполом засветилась громадная фреска – человек с раздвоенной бородой и огромным *CD* над головой широко распростер руки, словно пытаясь защитить Барта, Селию, Марию, Шелдона, Клелию и Декстера от ужасов прошлого. Которые, разумеется, остались в прошлом. Но у Барта всё равно выступили на глаза жаркие слезы благодарности.

Селия словно прочла его мысли, сказала:

– Как нам повезло, что мы живем в Российской стране...

Грегори Хаус – эту часть истории Барт сам знал отлично, из сериалов, которые они смотрели в прошлом году, – поднял восстание, уничтожил вредоносные компьютеры, мобильники, приставки, избавился от их владельцев, поставил на границе Российской страны проверенных людей и начал строить новое государство. Без Интернета и высоких технологий. Без телефонов и цифровой техники.

– Путь был тяжелым, – скорбно склонил голову Декстер Дюбуа. – Нашему дорогому Хаусу мешали враги, Российскую страну пытались бомбить ядерными бомбами и травить бак-оружием, но мы всё-таки выстояли! Мы победили! Наш народ спасла вера в правду, которую несет нам телевизионный экран!

Дальше было уже совсем скучно, но школьники всё равно слушали. Послушание входило в состав крови каждого жителя Российской страны.

– Первые сериалы наши дети смотрят еще в утробе матери. Каждый новый год они получают всё больше и больше новых знаний, а став взрослыми, поступают работать на Фабрику сериалов, где каждому найдется занятие по душе. Конечно, многим приходится совмещать эту работу с другой – по воспитанию детей, например, или по приготовлению пищи, но главным делом

нашей жизни было и остается многосерийное кино! Даже имена нашим людям даются в честь героев популярных сериалов, да будет так всегда!

– А можно вопрос? – осмелел Барт. – Зачем вообще об этом помнить? Почему лучших школьников Российской страны водят в Музей?

Декстер подошел так близко, что у Барта едва не сработала личная внутренняя сигнализация. Вблизи лицо гида выглядело утомленным, подведенным временем.

– Зачем? Прекрасный вопрос, Барт Картман, я в тебе не ошибся.

Он хлопнул в ладоши, и фреску с Грегори Хаусом сглотнула темнота.

– Каждый месяц полиция Российской страны ловит новых и новых изобретателей, пытающихся собрать очередной компьютер. Каждый день – вы удивитесь, дети! – глупцы пытаются сбежать из нашего прекрасного государства в умирающий, добирающий буквально последние денечки мир за Оградой.

Селия вздрогнула. Когда она была маленькой, они с папой случайно вышли из лесу к Ограде – лучше не вспоминать о том, как сильный взрослый папа бежал оттуда прочь со всех ног.

– Мы хотим показать вам, каким был этот мир – холодным, равнодушным и страшным. И вы, лучшие, наша надежда и гордость – сценаристы, режис-

серы, актеры, – вовремя получите эту страшную прививку. Мы не позволим нашей стране снова погрузиться в жуткий мрак виртуальной смерти!

Декстер так качал головой, что она могла отвалиться.

– Конечно, не позволим! – включилась Клелия. За время молчания голос ее слегка охрип, и дети вздрогнули, не узнав учительницу. – Давайте поблагодарим нашего дорогого гида за увлекательный рассказ. Если есть еще вопросы, он обязательно ответит...

Все молчали.

– Зато у меня есть вопрос к юному Барту Картману, – сказал Декстер. Селия вдруг взяла Барта за руку, и он почувствовал, как дрожат ее ледяные пальчики. – Не соблаговолите ли выпить чашечку морковного чая в компании нашего директора? Не ждите, дорогие мои, прощайте!

Селия нахмурилась, открыла было рот, но Клелия подтолкнула ее в спину. Она опять была в перчатках.

– Я забыла спросить, – крикнула Селия в спину Декстера. – Что такое «Подожди, я умру – и приду»?

Гид развернулся на каблуках-шпильках.

– Так говорили дети в самом начале двадцать первого века, когда мама звала их, например, к ужину. Дурно воспитанные дети играли в компьютер, в стрелялку, где герой умирал несколько

раз. У него было много жизней, но по правилам игры герой должен был победить или умереть, прежде чем игру можно будет начать заново. Ребенок «умирал», а потом шел к ужину. И маму эти слова не пугали...

Селия побледнела.

– Барт, я подожду тебя на улице!

– Не трать время зря, Селия! – сказал гид, и Барт увидел, что он еще старше, чем сказал. Сто двадцать, не меньше.

Дверь за гостями захлопнулась, и Декстер повел Барта к лестнице.

– Мы выбрали тебя, Барт Картман, в Хранители Музея, – торжественно сказал Декстер. – Поздравляем!

– А как же директор? – глупо спросил Барт. Гид захихикал и достал из кармана мобильный телефон. Такой же, как был среди экспонатов, только настоящий. На экране пульсировал желтый конверт.

– Директор ждет! – произнес Декстер и, крепко схватив мальчика за руку, потащил его за собой по лестнице к закрытой двери, где шумели голоса и стоял громкий, устойчивый гул, напоминающий зов далеких городов.

Барт боялся отворить дверь, боялся увидеть оживший кошмарный сон, преследовавший его с ночи гибели отца. Папа умер ночью, рядом лежали спутанные черные кабели и два мертвых те-

Подожди, я умру – и приду

левизора. Барт очень боялся, но Декстер исчез, кругом была темнота, а под дверью лежал желтый коврик электрического света. Селия поплачет и забудет. У мамы есть Хайтауэр. У Хайтауэр – красивый эпикантус. А у него, Барта, – вера в телевидение и Грегори Хауса. Он не пропадет – он лучший в школе.

Барт зажмурился и толкнул дверь.

Содержание

<i>На озере</i>	7
<i>Под факелом</i>	26
<i>Обстоятельство времени</i>	67
<i>На картине</i>	93
<i>По соседству</i>	119
<i>В день, когда родился Абельяр</i>	139
<i>В лесу</i>	157
<i>Остров Святой Елены</i>	187
<i>День Патрика</i>	210
<i>На войне</i>	240
<i>Подожди, я умру – и приду</i>	302

Литературно-художественное издание

Матвеева Анна Александровна

ПОДОЖДИ, Я УМРУ – И ПРИДУ

Рассказы

Заведующая редакцией *Е.Д.Шубина*

Литературный редактор *Г.П.Беляева*

Выпускающий *А.С.Портнов*

Технический редактор *Е.П.Кудиярова*

Корректоры *Е.В.Рудницкая, Е.Д.Полукеева*

Компьютерная верстка *Н.Н.Пуненковой*

ООО «Издательство АСТ»

127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16, стр. 3



<http://facebook.com/shubinabooks>



<http://vk.com/shubinabooks>

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Всеволод БЕНИГСЕН

ПЗХФЧЩ



Всеволод Бенигсен, автор нашумевших романов «ВИТЧ» и «ГенАцид», мастерски придумывает истории, в которых социальная фантастика тесно соседствует с «психологией», и для него не существует табу, особенно когда речь идет о советских мифологемах. Проза Всеволода Бенигсена замешана на гротеске, а его предшественниками называют Войновича, Искандера, Юза Алешковского.

В деревне рождается маленький Кузя – и вдруг все решают, что он антихрист. Почему – уже никто не помнит... Да и не знают на самом деле – хорошо это или плохо?..

Некий Коржииков взял в заложники кота своего соседа. Дело решает суд...

Незадачливого чеченца отправили в Москву совершить диверсию. Он заблудился и оказался в жуткой глухомани. Местные жители решили использовать «пояс шахида» в своих целях...



Анна Матвеева родилась в Свердловске, в семье ученых-лингвистов.
Автор романов «Перевал Дятлова», «Небеса», «Есть!».
Рассказы публиковались в журналах «Новый мир», «Звезда», «Сноб».
Новелла «Обстоятельство времени» вошла в шорт-лист
премии имени Юрия Казакова (2011),
«Остров Святой Елены» получил международную премию Lo Stellato (2004),
которая вручается в Салерно (Италия) за лучший рассказ года.

Matveeva, Anna Aleksandrovna
Podozhdi. Ia umru--i pridu : rassказы



2630 8595

980636B

Country of origin: Russia
East View Information Services
books@eastview.com
www.eastview.com

Герои историй Анны Матвеевой настойчиво ищут свое время и место.
Влюбленная в одиннадцатиклассника учительница грезит Англией.
Мальчик надеется, что родители снова будут вместе,
а к нему, вместо выдуманного озера на сцене, вернется настоящее,
и с ним – прежняя жизнь.

Незаметишь ошибку, зная, девочка ждет ее и мечтательно и привиденьем,
старая дева все еще ждет свое невозможное будущее.

Жена неудачливого писателя обманывается мечтами о литературном Парнасе,
а тот видит себя молодым, среди старых друзей. «Ведь нет страшнее,
чем узнать свое место и время». Не менее страшно – знать, и не уметь его найти.

*Для меня проза Анны Матвеевой стала чем-то неожиданным, свежим и желанным.
Лирическое здесь лишь поддерживает эпическое, а не наоборот.*

Алексей Иванов

ISBN 978-5-17-080117-6



9 785170 801176